

Б 48.

1924

 **НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

ГАРАЛЬД БЕРГСТЕДТ

ПРАЗДНИК ЙОРГЕНА

**«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**

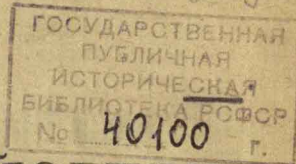
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГАРАЛЬД БЕРГСТЕДТ

HARALD BERGSTEDT

839.81-

Б-48



ПРАЗДНИК ЙОРГЕНА

ПЕРЕВОД А. ГАНЗЕН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — МСМХХIV — ПЕТРОГРАД

„Поразмыслите о сем“
(Евангелие св. Йоргена
глава 3, стих 29).

Отпечатано 4150 экз.
в Тип. Коминтерна
Гиз. № 5583.
Петрооблг. № 11.140.
Петроград.

ПРАЗДНИК ЙОРГЕНА

JÖRGENSEFESTEN

ЛЕГЕНДА

1919

00104

ВВЕДЕНИЕ

Среди многих мест паломничества, где человечество в истекшие тысячелетия черпало силу и утешение свыше, мало столь прославленных, как Йоргенстад с чудотворным плащом св. Йоргена.

Необозримыми полчищами стекались в этот город паломники на ежегодный большой трехдневный праздник Йоргена и уходили оттуда с кроткой улыбкой на губах, с умиленным сердцем и с чувством благодатной пустоты в кошельках, которое знакомо всем набожным душам, побывавшим в святых местах.

И не счесть восторженных певцов, которым паломничество в Йоргенстад вкладывало перо в руку и вдохновляло к сложению благочестивых славословий городу. Упомянуть хотя бы престарелого епископа Домпапа, который в последний раз посетил город на 89-м году своей жизни (во время свадебной поездки с седьмой своей женой и 26 детьми и внуками), когда голова его уже тряслась и прыгала на старой шее, как клапан па-

рового котла, а ветер лукаво теребил последние пять волосков на его голове. Тогда-то он, сидя на, к счастью, сохранившемся еще стуле из некрашеного грушевого дерева, и сочинил свой захватывающий гимн Йоргену, в 37 строф, начинающийся такими величественными и поэтическими строками:

О Йоргенстад! Святыни
Хранитель вековой!
Тобой увенчан ныне
Да будет скальд седой.

К певцу, все пилигримы,
Пока не пробил час
И—с песнью—в мир незримый
Он не взлетел от вас!..

Но подобно тому, как насмешливое сомнение и лукавый рассудок предательски закрадываются в исполненные чувствительной набожности сердца человеческие и грязнят нам лучшие мгновения, так низкие плуты время от времени проникают в святилища человеческие и совершают там надругательства над святынями, пока не удастся извергнуть их оттуда.

На нижеследующих страницах повествуется о том, как Микаэль Коркис, один из бесстыднейших плутов своего времени, более известный под именем „Коронного вора“, проник в Йоргенстад в день праздника, водворился в самом храме, спал с „храмовой невестой“ и т. д.—пока счастливый случай не разоблачил негодяя.

В век, когда столь многие благочестивые и кроткие души со слезами зрят—как самые святые, заветные верования их возмутительно втоптываются в грязь злыми людьми, которые отказываются принимать эти верования всерьез, и когда даже люди разумные поддаются соблазну—не кого иного, как самого дьявола—и судят свысока старозаветное простодушие и почтенные воззрения наших прабабушек и пра-пра-прабабушек,—в такой век строки эти имеют целью пролить целительный елей во все честные и набожные сердца, которые, к счастью, еще сохранили искреннюю, детскую доверчивость и невинную набожность в полной неприкосновенности от растлевающих посягательств холодного рассудка.

* * *

Источниками для повествования послужили:

Епископ Никодим: знаменитый „Словарь святых“, стр. 239 и сл. „О жизни св. Йоргена“.

Птолемей Правдолюбец: „Жития святых“.

Проф. А. П. Бриллеман фон Снумпфендорф: „Коронный вор и его время“.

Магистр Йеппесен: „Анналы средневековых плутней. Микаэль Коркис“, стр. 87.

„Здоровое чтение для народа“, год V, „Св. Йорген в Йоргенстаде“, издание Храмового Капитула.

Родовая книга младшей линии Фалькенбергов: „Красное солнце“; изд. фамилии Фалькенберг.

Храмовой архив. Приложение 42-е: „Секретное сообщение о 253-м празднике Йоргена“.

Евангелие св. Йоргена: 8-е просмотренное и исправленное издание авторизованного перевода проф. Толлемана с большого оригинального издания епископа Тулина, восстановившего текст 39 заплесневевших и сильно пострадавших пергаментных листов, найденных в 1845 году в пустой пивной бочке в Гейдельберге.

I

ПАЛОМНИКИ

„Кто видел паломников, валом валящих в Йоргенстад, тот понимает, что значит: валом валить“ — пишет кардинал Гропиус. С востока и запада, с юга и севера стремились туда люди, кто пешком, кто в телеге, кто верхом, кто ползком, шли и лезли напролом — чтобы попасть во время, узреть, как вынесут и покажут с высокой паперти храма чудотворный плащ св. Йоргена, и услышать громовой возглас Гросмейстера, знаменитый троекратный возглас: „Святой Йорген!.. Святой Йорген!.. Святой Йорген!.. Мы свято храним твой плащ!“

Паломники шли, опираясь на длинные посохи, в запыленных одеждах, с длинными бородами. Многие ковыляли на костылях... А в повозках и тележках везли калек и увечных, расслабленных и покрытых язвами и даже полумертвых — чтобы они прикоснулись к плащу, обладавшему несравненно чудотворною силою.

Паломники несли в руках небольшие синие глиняные кружки, так называемые „Йоргеновские копилки“, с деньгами. Само собой, что взималась известная сумма за право прикоснуться к бесценной реликвии.

Целый год стояла такая копилка на посудной полке, украшая бедную лачугу или хижину священным синим гербом Йоргеновского Капитула. Грошик за грошиком откладывали бедняки из своих скудных заработков в такую копилку, пока она не оказывалась битком набитою грошами, добытыми поистине потом и кровью. Откладывать было нелегко, и нередко бедняк долго вертел в руках свой грош, прежде чем опустить его в копилку. Но чего ни сделаешь ради здоровья телесного и спасения душевного?!

И как не пойти на праздник Йоргена? Все ходили! А вернуться с праздника, не прикоснувшись к плащу—срамота! И не зря же к нему прикасались! Какая-нибудь да была от этого польза. Ведь сколько уже было примеров! Не помогало в первый раз—помогало в следующий. А если опять не помогало,—стало быть, такова была воля божия, богу угодно было продлить испытание.

И вот, наконец, копилка была полна, установленная сумма собрана. Деньги пересчитывались. И после того люди уже начинали отсчитывать дни. С чистой совестью могли радоваться предстоящему

паломничеству, далекому всенародному странствию, во время которого можно было встретить всех старых знакомых, пробираясь чужими деревнями и глухими лесами; испытать священный трепет, заслышав издали три священных пушечных выстрела с горы Йоргена; с пением ступить на священную почву Йоргенстада и удостоиться наяву пройти по святым улицам, постоять перед святой статуей св. Йоргена, гранитный пьедестал которой потускнел и стерся от поцелуев паломников... Удостоиться наяву узреть могущественных господ храмовников, шествующих по улицам и площадям торжественною процессиею, сквозь коленопреклоненные толпы... Хлынуть в рощу к „капелле Йоргена“, или к так называемому „храму“, и очутиться перед священной бело-мраморной лестницею, на которую никогда не ступала ничья нога человеческая... Слушать звуки труб, возвещающих вынос чудотворного плаща!.. Семь господ храмовников выносили его из полумрака храма на свет дневной и показывали многотысячной толпе, благоговейно повергавшейся ниц. А на третий день праздника, когда все семеро знатных храмовников, во вретище, с посыпанными пеплом главами, под звуки скорбной музыки и с видом глубочайшего сокрушения и раскаяния, шли к источнику омыть свои руки... нет, нет!.. за такое зрелище не жаль было заплатить!.. И нельзя было не стремиться побывать на празднике Йоргена, нельзя было упустить слу-

чай прикоснуться к плащу—если человек хоть чуточку ценил и уважал себя.

И вот, люди хватали посохи и присоединялись к огромному шествию паломников, ежегодно проходившему по деревням с тысячеголосой песней паломников:

В путь, паломник! Слышишь зов?
Покидай убогий кров!
Все идут—и стар, и млад—
Во священный Йоргенстад!..

И как хорошо, как отрадно было в этой толпе паломников, как весело, тепло и уютно! У всех этих тысяч была приятная общая особенность: согбенные спины и робкие, славные, доверчиво-радостные глаза, то и дело наполнявшиеся слезами умиления. Никогда не натывался здесь взгляд на неприятно-независимую осанку или пару дерзких, испытующих очей. У всех колени отличались прищипательной гибкостью, а все головы при малейшем шуме с одинаковым испугом поворачивались в одну сторону, и все люди теснее жались в кучки.

Там, где проселочная Курфюрстова дорога заворачивала в Ноккебю, старые, опытные паломники начинали вытягивать шеи и окликать Тобиаса. Где Тобиас? Не видал ли кто Тобиаса? Пойдет ли Тобиас в этом году? Жив ли еще Тобиас?

— Жив! Жив!—откликался наконец сутулый седобородый старик, высовывая голову из самой жалкой дощатой хижины деревни. Крыша была дерновая, у самого порога текла вонючая канава, а перед дверью высилась гора сухих испражнений,—зато само небо сияло в веселых голубых глазах Тобиаса.

Он плотнее запахивал на себе свои лохмотья, хватал в руки посох, снимал с полки Йоргеновскую копилку и обтирал ее рукавом. Эге! Копилка была еще пуста, но у Тобиаса был светлый взгляд на жизнь, и он всегда умел наполнить копилку дорогою, с помощью добрых друзей. Ибо Тобиас был великим человеком среди паломников. В его деревне никто из соседей не поверил бы ему в долг и полугроша, которого он, само собою, не вернул бы,—Тобиас был в долгу у всех и каждого на три мили кругом, с незапамятных времен,—но, когда через деревню проходила толпа паломников, для старого Тобиаса наступал час удовлетворения. Он был всеобщим любимцем и первейшим из вожаков: он знал имена всех семерых храмовников, знал наизусть все евангелие Йоргена, был запевалой всех песнопений, прославлявших Йоргена, заучил весь Йоргеновский ритуал, побывал на празднике Йоргена 47 раз под ряд, и крутенько пришлось бы самому Тобиасу в тот год, когда ему не удалось бы побывать на празднике Йоргена! Другим это паломничество стоило денег. Старому

Тобиасу обходилось даром — благодаря его знаменитому умению молоть языком. Он и кормился в пути даром, из чужих походных мешков, и ночевал в святом городе даром — у своего старого приятеля Коркиса, проживавшего с дочерью Урсолой в Розовом переулке. Домой, к жене, Тобиас возвращался всегда загорелый, оживленный и с полным коробом всевозможных новостей. Так, сам собой, старый Тобиас всегда готов был примкнуть к паломникам. Что могло бы помешать ему? Дети? Детей у Тобиаса не было. То-есть уже не было больше. Когда-то было двое мальчишек, порядочных или даже весьма больших сорванцов. Господь их прибрал. Одного повесили, другой сгорел. Да и с дочками ему что-то не повезло. Не стоило допытываться — в чем именно было дело. Мимо! Господь сумеет все повернуть к лучшему, — проживем, увидим! Стало быть, в путь. А жена? Ну, она совсем никуда не годится; лежит на соломе в хижине и охает. Да что ж, лежать ей не плохо, а для развлечения пусть повоюет с поросятами и крысами. — Ладно, воюй себе на здоровье, не давай им спуска, старуха! — весело кричал Тобиас. — Авось, они не съедят тебя до моего возвращения!.. — И Тобиас, обогнув свою навозную кучу, спешил присоединиться к толпе паломников.

— Молодчина старик! — говорили все и снова смыкали ряды. Дорога шла лесистыми холмами, дремучими лесами, черною, мрачною многомиль-

ною стеною обступавшими Йоргенстад. Это были „разбойничьи леса“, потому что в старину они кишели разбойниками, теми самыми, с которыми отчаянно боролся Йорген.

Много было кругом и глубоких оврагов, и зловещих заброшенных пещер, напоминавших о разбойниках и грабителях. Паломники как раз о разбойниках и вели разговор, когда Тобиас подходил к ним; главное — о „Коронном воре“, самом знаменитом из всех, и об его товарище Поджигателе. Когда же Тобиас присоединился, все заговорили о Тобиасе, о Тобиасе, о Тобиасе. Но вскоре опять свернули на „Коронного вора“.

— Ну, — сказал Тобиас, — нашли о ком говорить!

— Да ведь „Коронный вор“ недавно опять появился в здешних краях, — сказали ему.

— Плюю я на него, — обиженно заявил Тобиас. — Небось, он не посмеет показаться вблизи Йоргенстада. Помилуй бог! Его разорвут на части.

— Да, но говорят... то-то и то-то...

— Все враки, — сказал Тобиас. — Перестаньте только болтать о нем. Слишком много чести для такого молодчика, чтобы им занимались или даже знали об его существовании. Или мы не паломники? Не паломники самого Йоргена? Ну? Разве он не с нами и не за нас? Ну? Не сумеет он, что ли, разделаться с каким-то воришкой или разбойником!

И старый Тобиас затянул одну из своих пилигримских песен:

Йорген—щит наш и покров
От разбойников, воров!
В ком любовь к нему пылает,
Всякий страх тот забывает!

Все подхватили, и сразу в рядах паломников воцарились благоговейное спокойствие и радость.

Да, Тобиаса не худо было иметь спутником, когда дорога проходила по таким опасным, ненадежным местам.

Вдруг, совершенно неожиданно, откуда-то из чащи вынырнули двое чужих! Впрочем, вид у них был почтенный, бороды длинные, в руках посохи. Один, среднего роста, с темнорусой бородой и серьезным лицом, смотрел настоящим паломником—простодушным и скромным. И вдобавок был совсем глух, бедняга!

У другого рожа была довольно-таки свирепая—как у бульдога, и вся в шрамах; но и он был калека—ковылял на двух костылях... А все же не очень-то успокоительно было каждую минуту ожидать, что вот-вот кто-нибудь опять вынырнет из лесной чащи...

Не успели, однако, люди хорошенько приглядеться к этим двум—глухому и хрому—как общее внимание было отвлечено другим зрелищем. Лес впереди расступился, и над чернеющими лесистыми холмами гордо вознесся Йоргенстад, белый, святой,

отстроенный заново, озаренный солнцем,—вознесся подобно Иерусалиму небесному над грешною землею.

Паломники пришли с запада по Курфюрстовой дороге, и вся гора Йоргена очутилась перед ними, как на ладони, в золотом вечернем сиянии. На самой верхушке смутно рисовались дворец Гросмейстера и пирамидальный тополь портного Курцена, а севернее—два столба с перекладиной—виселица. Как раз под ними приходились извилистый старый переулок Храмовников и Розовый переулок, где проживал приятель Тобиаса, старик Коркис с дочкой Урсулой. На южном склоне горы расположены были дворцы господ храмовников, ясно выступавшие в прозрачном воздухе, и роща со шпилем храма.

Паломники глядели во все глаза и жадно слушали объяснения старого Тобиаса. Лица старых паломников сияли радостью. Молодые были настроены не столь благочестиво, но и они глядели с не менее напряженным любопытством. Молодежи было среди паломников немало, и она держалась кучками—юноши отдельно, девушки отдельно. Они знали, что еще успеют сойтись!

Нельзя, в самом деле, отрицать, что праздник Йоргена, великий праздник паломников, являлся вместе с тем знаменитой и крупнейшей—на много миль кругом—ярмаркой любви. Праздничная ночь на обширных кладбищах северного склона горы

Иоргена была в сущности настоящим Содомом и Гоморрою.

— Эй! Клодина! И ты в нынешнем году собралась на Йоргенов праздник!—кричал молодой паломник, ехавший в простой деревенской телеге, запряженной клячей.

— Да, и я тоже, Клаус!

— А что тебе тут понадобилась, Клодина?

— На что тебе знать, Клаус?

— Да я, видишь ли, ищу себе подружку, Клодина.

— Уж не хочешь ли взять меня, Клаус?

— Очень хочу.

— Ну, а я-то не хочу.

— Хорошо, что во-время сказала.

— Клодина!—кричали ей в то же время отец с матерью, набожная чета землевладельцев.—Чего ты там разболталась с этим голяком?.. Не следует никогда брать с собою на Йоргенов праздник молоденьких девчонок!

— Да, да,—сказал старый паломник.—Того и гляди, с прибылью домой вернутся.

Давка была страшная. Ослы ревели, бараны блеяли, петухи кукурекали. Это оброчные храмовые крестьяне тащили в город своих ослов, овец, кур и прочую оброчную живность. Шум, гам и толкотня... И вдруг, всю эту сумятицу прорезали три приветственных пушечных выстрела, и зазвонили колокола.

Празднично разносился звон в тихом воздухе, и сзываемые им паломники стекались со всех сторон, распевая старую песню паломников.

Как сладок звон колоколов,
О Йорген, праздничный твой зов!..

Главный поток паломников шел мимо каменоломни, через гранитный мост и в гору по переулку Храмовников, но значительная часть сворачивала также на север в пригород и подымалась в гору по лестнице Скорби, недавно реставрированной.

Еще у подошвы горы встречали паломников мальчишки с плащами.—Плащи для паломников! Плащи для паломников!—выкрикивали они пронзительно.—Купите! Купите! Желтые, серые, белые, черные!..

— Добро пожаловать! Добро пожаловать!—кричали от всего сердца старые горожане снизу из-под моста.—Надеемся, с вами нет Коронного вора?

— Коронного вора?—кричал в ответ старый Тобиас, весь сияя и распушив свою белоснежную бороду.—Пусть-ка он посмеет забраться к нам! Нет, побоится старика Тобиаса из Ноккебю!—И он перешел мост—в 48-й раз в своей жизни.

— Эй, ты! Не скатись в каменоломню,—крикнул он глухому, который в сопровождении калеки на костылях заворачивал к северу вокруг горы.—Эй-эй! Берегись!.. Глух, как мешок отрубей! Не диво ли,

у меня слух, как у рыси, а ведь мне 75 стукнет на благовещение! Вот я каков! Не даром же я сорок семь раз прикасался к плащу Йоргена!.. Не кузнец ли это из Самса?—прибавил он в раздумьи насчет глухого.

Но это был не кузнец. Это был сам Коронный ор. Это он собственной персоной пробрался в Йоргенстад под праздничный звон колоколов.

КОРОННЫЙ ВОР

Настоящее имя Коронного вора было Микаэль Коркис, но в народе он был известен под кличкой „Коронного вора“.

Как странствующий фигляр и комедиант, он сначала прославился блестящим исполнением ролей шекспировских героев... Потом стяжал себе другую славу: во время пребывания труппы при дворе в Парме слюбился с самой герцогиней и, чтобы спасти ее от скандала, выкрал заложенные ее братцем коронные брильянты.

Проявленные им при этом отчаянная дерзость и головоломный акробатизм (прыжок с верхушки башни, бег по остриям железной решетки и переправа вплавь через сточные канавы) были столь феноменальны, что эта кража возбудила огромное внимание и доставила молодому комедианту кличку „Коронного вора“. Но вместе с тем поставила его вне закона и неумолимо погнала на стезю преступлений, где его природные дарования расцвели пыш-

ным цветом и принесли богатые плоды—целый ряд удивительных, головоломных и беззаконных похждений, кульминационным пунктом которых явился скандал, учиненный на празднике Йоргена, о коем здесь и повествуется.

Микаэль Коркис родился в Йоргенстаде. Матерью его была Урсула, дочь неглупого, но запуганного старого Коркиса, привратника и стража храма. Урсула, сочетавшая с унаследованной от отца грустной и чистой душою редкую, соблазнительную красоту, присутствовала однажды, молодой девушкой, на выносе плаща. Во время чтения с высоты храмовой паперти длинной легенды об Йоргене, Главный Капеллан заметил девушку в толпе и уже не спускал с нее своих горящих кабаньих глазок, так что она под конец стала сама не своя и, куда бы ни повернулась, чувствовала на себе этот прожигающий взгляд. Стоявшая с нею рядом Лотта-Гвоздика, с выпяченной нижней губой, тоже заметила взгляд Капеллана.—Ступай-ка домой, девушка, да расстегни свой пояс,—сказала она Урсуле. И впрямь: на третий день, в сумерки, когда Коркис с дочерью сидели за ужином, за дверями послышалась тяжелая поступь, дверь распахнулась и перед ними предстал Главный Капеллан в своем расшитом драконами облачении. Коркис и Урсула пали ниц, как предписывал обряд, но оба трепетали, зная, что их ждет.

Кивок—и старый Коркис покорно взял шапку и вышел. Долго шагал он взад и вперед по Розовому переулку, без усталости, не помня себя. Разговаривал с Лоттой-Гвоздикой о погоде, о гвоздиках и опять о погоде. Но Лотта ядовито усмехалась.

Тогда он пошел к одноному токарю. И тот усмехался как-то злорадно... Опять принялся старик шагать по переулку, пока Главный Капеллан с двумя скороходами впереди не прошел мимо него и можно было безбоязненно вернуться домой.

Урсула лежала на постели, онемевшая, пылающая стыдом, изнеможенная и потрясенная выпавшей ей на долю честью.

После она продолжала свой будничные труд, но как-то странно ушла в себя. Она чувствовала в своей простонародной утробе знатное семя Главного Капеллана. Как некое горячее слепое пятнышко, въелось оно в нее, ожило и превратилось в ребенка. Она родила его раннею весною и нарекла Микаэлем в честь архангела, который, по преданию, снизошел до бедной пряхи.

Микаэль вырос в бедной, но по благородному тихой обстановке. О происхождении своем он скоро узнал от подымавших его на смех учеников токаря. Все переулки, где ютилась беднота, кишмя кишели детьми господ храмовников. И Микаэлю не зачем было принимать насмешки особенно близко к сердцу.

Да, уродись он таким же вялым и сонно-равнодушным, как прочие ребяташки простонародья. Но, как на беду, он с материнской стороны унаследовал хрустально-чистую отзывчивую душу деда и его склонность все принимать всерьез, буквально. А вот покорности и смирения деда не унаследовал. Вместо того, Микаэлю передались от его высокородного отца оскал сверкающих, жадных зубов, алчность к благам жизни, сильное тело, недремлющая решимость и высокомерная гордость.

С горечью в душе, долгим взглядом провожал он по улице знатных господ храмовников, а в голове его упрямо роились наивно-дерзкие сказовые планы.

Наконец, долговязым подростком, он как-то подкараулил минутку и незаметно проник в высокий дворец Главного Капеллана; переходя из покоя в покой, добрался до него самого и сказал ему коротко и ясно:—Ты ведь отец мой!

Его публично наказали за наглость плетью на городской площади и выгнали из города.

— Я ему отплачу!—сказал Микаэль своим домашним на прощание.

— Не надо мстить! Не надо мстить!—уговаривал его старый кроткий Коркис, любивший мальчика, но побаивавшийся его буйного, решительного нрава. Сам он со своей кроткой душой всегда перед всеми сторонился, всем уступал.

Но в мальчике текла буйная, непокорная кровь.

Он сверкнул двумя рядами белых зубов и повторил:

— Я ему отплачу... когда вернусь в силе и славе... да, в славе!..

— Будь только добрым и честным мальчиком!— сказала мать.

— Честным! Как бы не так!— ответил мальчик, еще весь дрожа от порки.— Нет, сильным! Сильным! И пусть они там, на горе, бегутся! Пусть бегутся господа храмовники!.. Пусть бегутся!— повторял он, прокрадываясь из дому задами, через соседний сад, через плетни, в храмовую рошу и вон из города, вниз, в темные, дремучие разбойничьи леса—с маленьким узелком съестного в руках...

Он попал в труппу акробатов, перебивал в разных странах, подвизаясь в качестве канатного плясуна и головоломного прыгуна; потом перешел в труппу комедиантов, где его выдающиеся способности быстро развернулись, и он своим фантастическим героизмом и юношескою красотою чаровал зрителей в шекспировских ролях. Таким путем он мысленно переживал свою месть, свое будущее величие и одновременно не по чину развивал свой дух и свою гордость. Труппа кочевала от одного королевского или княжеского двора к другому и всюду имела большой успех. При Пармском дворе с Микаэлем, как уже

упомянуто, стряслась беда. Пришлось ему прервать свою артистическую карьеру, которая, впрочем, сводилась к позолоченной нищете, и все возмущавшее в нем презрение к жизни и людям и обуревавшие его мечты о мести быстро вовлекли его в самую бесшабашную жизнь, полную приключений и преступлений.

„При обзоре преступлений Микаэля Коркиса,— пишет профессор А. Р. Бриллеман фон Снумпфендорф,—особенно бросается в глаза его замечательное презрение как к своей, так и к чужой жизни или смерти. Кровавожадность и грубость были ему в сущности чужды. Напротив, история сохранила много мелких тонких черточек его характера, свидетельствовавших о почти трогательной доброте и самоотвержении. О том же говорит, например, посещение им мельницы в Розовой долине, в сочельник во время чумы, когда население зато и освободило его самого из тюрьмы, и помогло выбраться из города. Но столь же поразительна и та почти элегантная небрежность, с какой он пресекал нить жизни какого-нибудь обремененного землю создания—так же ловко и спокойно, как привычный человек тушит пальцами фитиль мешающей ему свечки. Закон и религия служили для Микаэля не большими препятствиями, чем протянувшиеся поперек его пути нити паутины. Ни одно из его бесчисленных приключений не может, однако, сравниться с его посе-

щением Иоргенстада¹⁾ — если верить профессору Бриллеману.

Было Коронному вору в то время уже 36 лет. Благодаря своему хладнокровию, презрению к смерти и присутствию духа, он раз за разом ускользал из самых крепких тюрем, но теперь сеть готова была стянуться вокруг него. На этот раз он спасался бегством, как лисица, преследуемая по пятам собаками. После убийства курфюрстова зятя и собутыльника „графа-Кровопийцы“, найденного мертвым со столовым ножом в брюхе и с торчавшей изо рта гусиной ножкой, курфюрст устроил настоящую облаву на знаменитого разбойника. С величайшим трудом ускользнул Микаэль из рук ландскнехтов и скрылся в непроходимой чаще лесов, где легко мог пропасть с голоду, но где его мудрено было изловить.

Но курфюрст твердо решил затравить свою дичь. Другой известный разбойник, Франц Поджигатель, которого курфюрст осудил на растерзание дикими конями, тоже убежал из тюрьмы, и предполагалось, что оба преступника скрываются в одном лесу. Приказано было обшарить весь лес. Девятьсот крепостных крестьян курфюрста из селений: Сневлеберг, Румпелев, Скуттеруп, Сюввейе, Тоссеберг и Сноркебю¹⁾, с цепями и косами были

¹⁾ Названия эти можно передать по-русски приблизительно так: Гнусавино, Голозадово, Утриносово, Семи-дорожье, Дураково и Храповицкое.

двинуты к лесу с запада. С юга наступала собственная милиция курфюрста с ружьями, копьями и оленьими сетями. А с востока и с севера лес примыкал к пустынному берегу моря. Все таким образом гнало беглецов в западню, где они рано или поздно и должны были или погибнуть с голоду, или попасться в руки преследователей.

Микаэль Коркис лежал в лесу в лисьей яме и грелся на солнце. Борода у него была всклокоченная, лицо изможденное, одежда вся рваная и грязная.

Жизнь надоела ему. С годами—после того, как ему исполнилось тридцать лет—душа его как-то затихала, впадала в уныние. Жизнь уже начинала казаться ему окончательно проигранной, безнадежно загубленной.

Уныло смотрел он на свое красивое, гибкое тело, ощупывал свое грязное, обросшее длинной бородой лицо... Он знал свои блестящие задатки и способности, знал, что вооружен для жизни, как мало кто. Но что извлек он из всего этого? Теперь он уже должен был бы достигнуть цели своих честолюбивых грез, а вместо того лежал в яме, как затравленная лиса. Ему вспомнилась принцесса Пармская... эта девка... Высоко метил он, а вот чем кончилось все великолепие. Он слетел в пропасть.

С дороги доносился скрип многочисленных телег, шум и гам голосов. А вот слышалось и пение паломников:

В путь, паломник! Слышишь зов?..

Он привстал. Ему пришла в голову мысль. Сверкнула, как молния. Это ведь шествие паломников. Стало быт, Йоргенстад, его родной город, недалеко. И, значит, на этих днях начинается праздник. Что, если он замешается в толпу пилигримов? Затерянный в этой толпе, он может побывать в родном городе. Никакой курфюрст не сыщет его в праздничной толкотне и давке, а после праздника он в той же толпе выберется из города и, может быть, проскользнет между рук у курфюрстовой милиции.

Но вдруг им овладело усталое отвращение, и он снова улегся. Все впечатления детства вдруг всплыли в его душе с такой жуткою отчетливостью...

Домишка в Розовом переулке, молчаливая и словно выплакавшая все свои слезы мать, старый дед—не от мира сего, тесные каморки, словно отгороженные от мира, и далекий от мира садик с розами и огромным, в рост человека, кустом фуксий. А за палисадом—Розовый переулок, Лотта-Гвоздика с дерзко выпяченной нижней губой, жирный одноногий токарь с его столь же самодовольно-вялыми учениками... Насмешки... смелое посещение отца—всемогущего Главного Капел-

лана... плети на площади... ужас матери и деда... полная их приниженность, неспособность воспылать негодованием... Унизительное прощание с городом... задорное обещание вернуться в силе и славе... и... отплатить!..

И вот, он вернулся—нищим, почти затравленным, как паршивая лисица лесная.

Он мечтал о мести. Поклялся не возвращаться иначе, как в блеске славы, заставляя склоняться перед собою все головы. И вот, двадцать лет спустя, приходится ему тайком, безымянным бродягой пробираться в родной город, чтобы как-нибудь спастись от смерти. Безымянным, неузнанным матерью и дедом, придется ему вновь украдкой покинуть город—из боязни, как бы его не узнали и не повесили на родной виселице.

Душа его была словно парализована; им овладело какое-то особенное мистически-религиозное настроение, свойственное его натуре, унаследованное от деда,—безвольное самосозерцание, бескорыстное саморастворение в природе, слияние со вселенной, своего рода смерть заживо, состояние, когда всякий страх, всякое стремление претворялись в покой, но когда всякий, даже чуть слышный птичий писк, самый тихий стук колес отзывались в его душе нежной музыкой...

Он услышал издалека звон колоколов. Родных колоколов! И опять вскочил, вдруг оживившийся, полный искристой энергии и буйной, ни с чем не

считающейся силы воли... Это было столь же религиозное настроение, вызванное одиночеством, как и предыдущее, но настроение активное; оно часто сменяло у него то первое, пассивное, следовало за ним по пятам; в этом новом настроении он все, бывшее вне его самого, не считал ни во что; все сосредоточивалось для него на некоторое время в нем самом и в его воле.

Да, он хочет побывать в Йоргенстаде и побывает, да еще как! Так что оставит по себе память. „В силе... и славе...“—клялся он когда-то. Что ж, никогда еще не был он сильнее и опаснее, чем сейчас, когда ему нечего и некого было терять—ни друга, ни надежды, ни мечты... Не о чем было жалеть—даже о жизни.

Сеть стягивалась вокруг него, но прежде, чем они его поймут, он еще раз встретится лицом к лицу со своим отцом, Главным Капелланом. Об этой встрече заговорят во всем мире и не скоро забудут о ней. И сам он очистится от снедавшей его жгучей, едкой горечи, которою пропитаны все его существо, вся его загубленная жизнь, избавится от этой горечи прежде, чем расстаться с самою жизнью, с этою жалкою, короткою жизнью человеческой.

Он вскочил и выпрямился, бодрый, юношески свежий. Окликнул своего спутника Франца, грубого разбойника, который обмывал в ручье свои шиколотки, израненные кандалами курфюрста.

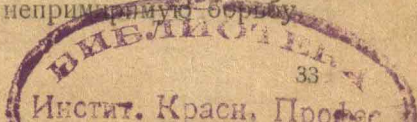
Франц, тупой, неотесанный и жадный, но простодушный, трепетал перед курфюрстами и прочими великими мира. Дрожал за свою жалкую жизнь и при одной мысли об угрожавшей ему казни—растерзании дикими конями—готов был заползти в мышиную норку.

Зато он фанатически верил в светлую голову своего товарища. Сам он пока разыгрывал калеку и ходил на паре краденых костылей. Вслед за Микаэлем проковылял он в толпу паломников, вместе с ним ступил на священную почву Йоргенстада в тот самый час, когда колокол на башне св. Катрины бил семь часов и звонили все городские колокола.

ГОРОД СВ. ЙОРГЕНА

Город раскинулся на вершине Йоргеновской горы и всеми четырьмя сторонами глядел на мрачную неприветливую горную страну вокруг, поросшую дремучими лесами, так называемыми разбойничьими лесами.

Вышей точкой в городе являлась площадь св. Йоргена с бронзовой статуей Йоргена. Почерневший от дождей и ржавчины, стоял он там в образе молодого, смелого пастуха в короткой одежде, с посохом в руках и в широкополой шляпе, глядя вдаль, на юго-восток, туда, за темные леса, откуда совершали свои налеты на город разбойничьи шайки, с которыми Йорген вел непримиримую борьбу.



На лицевой стороне гранитного цоколя было высечено золотыми буквами:

Св. Йорген, друг простых людей, в брачную ночь свою изгнанный из города высокомерно знатю, да будет благословенна память твоя.

А на противоположной стороне цоколя была надпись:

Воздвигнуто в знак покаяния и рассказа священным Капитулом храма св. Йоргена.

От площади вели вниз четыре дороги. Северный склон горы был довольно пустынен и слабо заселен. По этому склону спускалась „Лестница Скорби“ к Брачному пруду близ Поппельбрэнна—невзрачного пригорода, ютившегося у подошвы горы.

По преданию, этою дорогою бежал в брачную ночь окровавленный и нагой Йорген. На этом северном склоне росли красненькие цветочки, которые и назывались „Йоргеновой кровью“.

На восток вел от площади Разбойничий переулочек—вниз, в новую часть города, со множеством странноприимных домов, постоянных дворов и погребков с вывесками в роде: „Праведный паломник“, „Добродетельный паломник“ и даже „Веселый паломник“, „Корчма курфюрста“, „Новая корчма курфюрста“, „Корчма храмовников“, „Кровь св. Йор-

гена“, а над одним постоянным двором красовалось просто: „Сюда, старина“.

Эта восточная часть города мало-по-малу стала центром тяготения, хотя и была новейшего происхождения. Многие господа храмовники являлись негласными хозяевами или акционерами разных корчем и погребков; это ведь были настоящие золотые россыпи города. Но официально с восточным кварталом не считались. Порядочные семьи там не селились, и большие шествия и торжественные процессии никогда не проходили через эту часть города, как никогда не показывался в Разбойничьем переулке или в боковых его закоулках (во всяком случае днем) никто из почтенных людей.

На южном, солнечном склоне расположилась самая аристократическая часть города; дворцы господ храмовников окружали величественную Брачную аллею, которая вела с Йоргеновской площади (от самого дворца Гросмейстера, мрачного, старинного здания) прямо к храму Йоргена в священной роще.

Западнее рощи находилась площадь Капитула, со старым позорным столбом, соединяющаяся Капитульным переулком с Розовым переулком и с кварталом садов.

Наконец, на западном склоне ютился подлинный старый Йоргенстад с извилистыми переулками, кривыми закоулками и тупиками. Здесь зигзагами

извивался переулком Храмовников—от Йоргеновской площади, позади садовой стены Гросмейстера и мимо спуска к источнику Йоргена, у высокого тополя портного Курцена, упираясь в Курфюрстову проселочную дорогу как раз возле каменоломни. Дорога эта в свою очередь извивалась милую за милей и пропадала в горах. Почти в самой середине переулочка Храмовников от него заворачивал к югу Розовый переулок и, пересекая Капитульный переулок наискосок от старого дворца Секретаря, так называемой „Башни“—одного из стариннейших и благороднейших зданий Йоргенстада,—вел к храму окружным путем, через Капитульную площадь со старым позорным столбом.

На северо-западном склоне, между источником Йоргена и „лестницей Скорби“, выпячивался холм Висельников, где стояла виселица. От нее бежала по обрыву узкая „тропа Палача“, выходившая на Йоргеновскую площадь „Крапивным клином“—между садовой стеной Гросмейстера и старыми городскими воротами.

Триста лет назад (излагая вкратце легенду о Йоргене), город и его окрестности жестоко страдали от наглых нападений разбойничьих шаек. И странно: простой народ разорялся от их налетов, а знать все богатели и обзаводилась великолепными дворцами, стоящими и по сей час, битком набитыми всякими драгоценностями да награбленным добром.

Тут-то и поднялся на защиту народа благочестивый Йорген. Он установил, что городская знать находилась в тайных сношениях с разбойничьими бандами, грабившими народ. Все, что отбирали днем от простых людей, ночью свозилось в подвалы и склады знатных. Йорген и стал громко обличать их на площадях и улицах.

Разгневанные господа стакнулись и в ночь свадьбы Йоргена окружили его дом вооруженными людьми с факелами. Но молодой Йорген вскочил с брачной постели, вырвался из рук врагов и нагой, израненный, бежал по северному склону горы, где ныне шла „лестница Скорби“, затерялся в пригороде Поппельбреннен и потом исчез бесследно.

Разъяренные господа нашли только его забрызганную кровью пастушью безрукавку и вывесили ее, на поругание, на позорном столбе, который и до сих пор стоит на Капитульной площади.

И вот, утром, на восходе солнца, обнаружилось великое чудо: безрукавка исчезла, а на ее месте висел дорогой, вышитый, шелковый и обрызганный кровью свадебный плащ.

Кроме того, словно невидимая рука преследовала с тех пор высокомерных господ города; сами они страдали чирьями и всякими болезнями, а их маленькие дети криком кричали день и ночь, пока не умирали. Тщетно прибегали они и к врачам, и к знахаркам; ничто не помогало.

Тогда господа опомнились. Воздвигли в роше, наискосок от позорного столба, великолепную капеллу в честь св. Йоргена и повесили в ней священный плащ. А в храме устроили „брачный покой“, в котором с великими почестями водворили невесту св. Йоргена, чтобы она могла там дожидаться возвращения своего жениха. Затем семь знатнейших жителей города получили звание хранителей храма и плаща, или „господ храмовников“, и составили храмовой Капитул, задачей которого было сохранить плащ до возвращения святого. И диво! Чирья пропали, все болезни прошли, и невидимая рука словно взяла с тех пор под свою защиту весь город.

Св. Йорген так и не возвратился, но его невеста прожила в храме до самой смерти, после же того, как она испустила дух, ей избрана была преемница—одна из знатнейших и прекраснейших девиц в городе. Так с тех пор и повелось.

И каждый год, в Йоргенов день, священный обрызганный кровью плащ выносился из храма на показ паломникам. Про этот плащ сложена была песня:

Плащ дивной силой одарен,
врачует все недуги он:
безумье, порчу, язвы, раны,
мужские, женские изъязны...

Триста лет прошло с тех пор, как Йорген бежал из города по северному склону горы. С тех

пор Йоргенстад развился в знаменитое место паломничества. Тысячи и тысячи паломников приходили поклониться святому месту, но особенно огромное стечение народа бывало в день выноса плаща. Пять курфюрстов и два кардинала со свитой почтили праздник своим присутствием, и памятные мраморные доски, прибитые к домам, отмечали—где они останавливались. Не забудем упомянуть и сего скальда Йоргенстада, старого епископа Дом-папа, посетившего праздник на 89-м году от роду, за полтора года до смерти своей, последовавшей от головокружения.

Но как ни велик бывал наплыв народа в обычный годовой праздник св. Йоргена, еще больше—если это возможно—бывал он, когда к празднику присоединялось избрание новой храмовой невесты. И как раз такое избрание предстояло в тот год, когда праздник посетил Коронный вор (подробность, заслуживающая внимания).

Храмовая невеста занимала весьма высокое положение. Ей предоставлены были особые покои при храме, особый стул в церкви, вызолоченная храмовая колесница и весь доход от принадлежавшего храму участка земли к югу от Милицейской дороги.

Где бы ни проезжала храмовая невеста—все идущие люди и животные должны были останавливаться, а едущие крестьяне и горожане выходить из своих экипажей и стоять, пока ее святейшая

милость не изволит проехать. Зато перед каждым выборами храмовой невесты между знатнейшими семьями города и происходила ожесточенная борьба. В обязанность храмовой невесте вменялось только—проживать при храме и хранить целомудрие до самой смерти. История говорит лишь об одной храмовой невесте, благородной Аннатомине ф. Корпенштейн, у которой нашли в покое кавалера. Наказание последовало примерное: обоих—и легкомысленную Аннатомину, и кавалера зашили в мешок и бросили в опочную яму, на севере от лестницы Скорби. Эта яма и доныне носит название Брачного пруда.

В позднейшие времена таких историй не повторялось, между прочим и по той причине, что мало-помалу храмовых невест стали выбирать по старшинству лет, то-есть из необеспеченных старых дев, принадлежавших к знатнейшим семьям в городе.

Между такими высокородными кандидатками также возникала невероятно страстная, но тихая борьба. Городской архив хранит историю о том, как две старые девицы, благородная Марта ф. Скрепп ¹⁾ и благородная Метта Эддерворм ²⁾, изволили обе скончаться в один и тот же день, послав друг дружке поутру отравленные вишни и другие знаки

¹⁾ Трещотка.

²⁾ Гадюка.

внимания, вызванные их соперничеством в качестве кандидаток в храмовые невесты.

Такого рода происшествия, как ни были они сами по себе печальны, нисколько не умаляли славы Йоргеновских праздников; скорее даже напротив, они бросали новый, особый блеск на старые обычаи, и Йоргенстад в данное время (т. е. в 17-й год правления курфюрста Иоганна Жирного) был богатым и роскошным городом, в самом расцвете своей славы, городом с 4 церквами, 23 гостиницами, 7 публичными домами, 14 гончарными заводами, 37 фабриками плащей, 1 виселицей, 1 свалкой и 2 кладбищами—старым и новым, из которых первое известно было под странным названием: „Девичьего рая“.

Но одна новая и страшная опасность в последнее время все-таки явилась: сомнение, свободомыслие, глумление! Ведь для города, честно живущего своею верою, нет в мире ничего опаснее сомнения.

И проявились эти опасные симптомы не среди простонародья, городских мещан или паломников, но среди праздной молодежи, среди знатнейших, богатейших, задающих тон молодых отпрысков самих господ храмовников.

Образовался целый кружок, свивший свое гнездо в роскошном дворце Секретаря Капитула, на углу Розового переулка и переулка Храмовников, в стариннейшем и знатнейшем дворце города, в „Башне“, как его называли. А душою этого кружка пресы-

щенной молодежи была не кто иная, как дочь самого Гросмейстера, юная, гордая и прекрасная Олеандра.

По вечерам и по ночам, когда почтенные обыватели лежали в своих кроватях под пуховиками и читали на сон грядущий молитвы св. Йоргену, тишина ночная нарушалась вырывавшимися из освещенных окон „Башни“ взрывами смеха и звоном бокалов. И неустойчивая бюргерская молодежь могла, стоя под окнами „Башни“, часами прислушиваться к ядовитым насмешкам юных кавалеров и девиц—насмешкам над паломниками, над плащом, над невестой Йоргена и даже над самим Йоргеном!

Долго такое их поведение служило предметом соблазна, но почтение к храмовникам сдерживало негодование старозаветных бюргеров. Наконец, незадолго до того праздника, о котором здесь повествуется, произошел скандал, переполнивший меру терпения.

Вся компания из „Башни“ пошла в полночь провожать гордую Олеандру и ее хохотушку сестру Розу до дому—до дворца Гросмейстера на площади, против статуи Йоргена. Все были в заметно приподнятом настроении—от вина. И вот, Олеандра, стоя на монументальном крыльце отцовского дворца, обратилась с речью к досточтимой статуе и назвала Йоргена „старым дураком“, а паломников идиотами. После же этого остальная компания, взявшись за руки и передразнивая паломников,

изображая горбатых, хромых и блаженных, стала водить хоровод вокруг статуи, распевая старую песню паломников:

Скажи нам, Йорген, нас любя,
Что было б с нами без тебя?..

— Смотрите, миссионер идет,—шепнула Роза,—как раз кстати!

— Да, минута историческая,—захохотала Тимофила.

Ночные сторожа, разумеется, не осмелились призвать к порядку знатную компанию, а напротив сами скалили зубы, наблюдая потеху. И веселая компания разошлась только, пропев все 25 куплетов песни и истощив все свои остроты насчет Йоргена и его будущей невесты, которою должна была стать или 48-летняя Аврелия, дочь Казначея (хромая), или 53-летняя Лобелия, дочь Хранителя плаща (у которой оставалось во рту всего два зуба). Олеандра и Роза отправились в кровати, а прочие молодые кавалеры и девицы направились по своим домам.

ОЛЕАНДРА

Молва об этой ночной оргии повергла старозаветных обитателей города в настоящий столбняк ужаса.—Дочь самого Гросмейстера!?!—шептались на углах улиц и на площадях.—Да еще накануне самого праздника!.. Дочь самого Гросмейстера!..

Нет, близко, видно, пришествие Йоргена в родные края!

Но что еще хуже: разгневался деловой мир. Такие скандалы могли ведь подорвать славу праздника. Необходимо было принять какие-нибудь меры, и—к Гросмейстеру отправлена была депутация.

Дрожа от гнева, явился Гросмейстер к своей надменной дочери, которая, лежа на диване, полировала ногти, и потребовал ее к ответу.

— Олеандра, дочь моя, ты стала вольнодумкой?

— Что подразумевает под этим мой отец?

— Встань, когда я с тобой говорю!.. Называла ты паломников идиотами?

— Боже мой, я ведь не слепая.

Гросмейстер не стал опровергать это утверждение.

— Называла ты св. Йоргена, святого покровителя города, пугалом?

— Да; и не раз.

— Называла ты священный плащ Йоргена старым халатом?

— Еще бы!

— А все св. евангелие Йоргена—вздором и чепухой от первого до последнего слова?

— Но, боже мой, папа, простая безрукавка не могла ведь превратиться в драгоценный плащ. Как можете вы проповедывать такую чепуху? Дальше уж итти некуда.

— Тут нет речи о простой безрукавке; речь идет о священной безрукавке св. Йоргена, которая чудесно превратилась в плащ—не сегодня и не вчера, а 300 лет тому назад.

— Не вижу, чтобы это меняло дело,—возразила молодая девица.

— Безрукавка была обыкновенной безрукавкой, купленной у простого портного, где-нибудь тут же на горе, одной из обыкновенных безрукавок, с пятью-шестью костяными пуговицами. Так?

— Возможно,—осторожно согласился Гросмейстер. Он не привык философствовать на такие темы и не знал, куда она клонит.

— И она, стало быть, превратилась в шелковый плащ с семнадцатью серебряными пуговицами?—продолжала Олеандра.

— Да.

— Прекрасно,—сказала молодая девица.—И что сукно может стать шелком, я еще допускаю, хоть и с трудом. И что костяная пуговица могла переменить цвет и заблестеть серебром—пожалуй, тоже.

— Так что же ты критикуешь?—спросил Гросмейстер, меряя ее сердитым взглядом.

— Я не понимаю, как могли пять костяных пуговиц стать семнадцатью серебряными пуговицами. Как могли пять превратиться в семнадцать?.. Это вздор!

Гросмейстер почувствовал себя припертым к стене. Поэтому он поспешил принять торжественный тон.

— О, хвала господу, что твоя благочестивая мать не дожидая до таких речей твоих! Да, хвала и честь господу!—пробормотал он, складывая руки.

Но Олеандра не спалась. Глаза ее сверкали, гордая грудь волновалась.

— Объясни мне вот что еще: у безрукавки нет вешалки. Ведь нету?—крикнула она.

— Нету,—сказал, подумав, Гросмейстер. Он опасался новой ловушки.

— Так! А в евангелии Иоргена, глава 8-я, стих 11 (вот оно под рукой у меня) ясно сказано: „И взяли они бедную безрукавку его и повесили на позорный столб за одну пройму—в насмешку и поругание“. Разве это не яснее ясного?

— Да,—согласился Гросмейстер.

— Хорошо; но в главе 9-й, стихи 23 и 24, вот что говорится: „И нашли вместо нее повешенный за вешалку богатый вышитый плащ“. Объясни же мне это! Безрукавка превратилась в плащ. Безрукавка подвешена была за пройму, плащ оказался повешенным за вешалку! В таком случае не пришлось ли вешалка сбоку? А? И что же случилось с другой проймой?

Гросмейстер безмолвно вперил взгляд в лицо дочери.

Хороший ключ подходит лишь к своей замочной скважине, и добрый разум понимает лишь свое собственное время.

Гросмейстер был так же умен, как Олеандра, но принадлежал к старшему поколению, когда не давали себе труда задумываться над плащами и вешалками. Куда и к чему клонит Олеандра? Что ей за охота копаться в таких ребяческих подробностях? Слушать тошно!

— Так вот о чем вы философствуете в вашей компании у Секретаря?

— Да,—сказала она,—Секретарь остроумный и житейски искушенный человек. Но ты так и не дал мне объяснения.

Гросмейстер с пренебрежением ответил:

— Право, я не унижусь до истолкования таких чудес.

— Еще бы,—гордо согласилась Олеандра.—Мы, слава богу, не идиоты в нашей семье. Но почему же тогда ты запрещаешь мне рассуждать? Разве не сказано в евангелии св. Иоргена, глава 3, стих 20: „Поразмыслите о сем“? Как же вы можете унижаться до проповедывания такого вздора и чепухи о человеке, умершем и погребенном 300 лет назад, да еще внушать людям, что он вернется!?

— Мы этого не делаем.

— Делаете! Или вы не избираете ему новую невесту? Чтобы она сидела и поджидала Иоргена, который умер 300 лет тому назад! Нечто смешное до-нельзя. Да если б еще вы сами верили в это серьезно! Но каждый ребенок на улице может сообразить, что ни капли вы во все это не верите.

— То-есть, как это?

— Ну, да,—иначе вы избирали бы невесту молодую, красивую, которая бы подошла Йоргену, в случае его возвращения. А вы, вместо того, выбираете таких перестарков, как казначейская Аврелия, которой 48 лет, или плащехранительская Лобелия, которой 51 год. Одна хромая, другая беззубая. Вы же сами понимаете, что, вернись Йорген и загляни в брачный покой, где сидит такая старая дева с кошкой и канарейкой,—хорошую он скроил бы гримасу!.. То-то! А вы вдобавок делаете выигрышный номер из всего этого обряда выборов невесты, в смысл которого ни капли не верите.

На этот раз Гросмейстер был сражен. Он должен был признать полную правоту дочери и смирил ее взглядом бесконечного изумления.

„Вот оно что!—подумал он.—Так она сама мечтает стать храмовой невестой! Не отсюда ли вся эта горечь?“

И в голове его зароились честолюбивые планы и мечты, и он с новым глубоким интересом стал вглядываться в свою умную и честолюбивую дочь.

Но Олеандра разочаровала его. Она продолжала.

— Ни капли не верите вы и в плащ.

— Что такое!—рявкнул он.

— Ни капли. Когда ты был болен зимой, ты вызвал к себе врачей и знахарей отовсюду. А веруй ты в плащ, ты бы просто велел отнести себя

в храм. Но ты не хуже меня знаешь, что в плаще Йоргена целебной силы не больше, чем в этой вот чашке. Да иначе и странно было бы, что как раз Хранитель плаща страдает всеми явными и тайными недугами, какие только бывают на свете. Да и, боже мой,—какой же плащ может продержаться 300 лет! Не даром у вас в храме всегда имеется в запасе новый плащ—чтобы заменить старый, когда он разлезется.

Гросмейстер привскочил, побелев, как мел, и с испугом покосился на окна и двери.

— Это ложь!—прогремел он.

— Это правда,—ответила она.

— Кто это говорит?—прошептал он.

— Секретарь.

— Никогда он этого не говорил.

— Говорил, и не раз.

— Я это дело расследую,—запальчиво заявил Гросмейстер.—И, если это подтвердится, Секретарю будет наклеен хороший пластырь на уста.

— Пластырь на уста!—вскричала Олеандра.— Вот видишь! У всех у вас пластырь на устах! Вы носитесь с плащом, в который не верите. Выбираете невесту, в которую не верите. Грозите другу другу пластырем на уста и дурачите тысячи паломников, рассказывая им легенды, в которых ни один из вас не верит ни единому слову.

— Это неправда!

- Ну, назови хоть одного верующего
- Брат Розового сада.
- Простофиля! — сказала Олеандра.
- И Казначей.

— Да, потому что у него жена истеричка. Она приказывает ему верить. Вы же, прочие, все знаете, что все это суший вздор с начала до конца. Святого Йоргена никогда и на свете не было. Плащ его сфабрикован у вас в храме или бог весть где. Евангелие о нем слеплено из лоскутков хитроумными или придурковатыми храмовниками и книгопечатниками. Храм — просто крупное деловое предприятие. Праздник Йоргена — чистая спекуляция, если можно употребить слово „чистая“ в таком сочетании, а выборы невесты — одна комедия. Но вы тут бегаєте и морочите друг друга всеми этими старыми баснями о Йоргене и нас с самой колыбели пичкаете Йоргеном, Йоргеном и Йоргеном — пока не вобьете нам в голову, что вся эта чепуха — нечто многозначительное, о чем можно разговаривать лишь шопотом и молитвенно сложив руки. И даже умные люди не решаются посмеяться надо всем этим от чистого сердца, так как всосали все эти сказки с молоком кормилицы. И все люди, желающие пробиться вперед, поневоле мало-по-малу приучились лицемерить и на каждом шагу призывать Йоргена, особенно когда предстоит обделать выгодную аферу!..

Гросмейстер ушел, но скоро опять вернулся.

— Дочь моя, — сказал он, — ты молода. И у меня в юности были сомнения, да и теперь я согласен с тобой во многом.

— Как же можешь ты, стоя в облачении, провозглашать то, во что сам не веришь?

— Дитя мое, когда я вижу эти устремленные на меня доверчивые глаза, для которых все это — сама истина, я чувствую, что это и не может быть одним обманом.

— Но ты же знаешь, что все это один обман.

— Это — истина для многих, дитя мое, для тысяч трепетных сердец человеческих это сама жизнь, сама истина. И есть нечто прекрасное в мысли, что город имеет своего святого покровителя, который жив и доньше.

— Да ведь это же вздор!

— Мы, люди, не можем, однако, обойтись без веры во что-то высшее и без надежды на него.

— Я могу! — воскликнула она, раздувая ноздри. — И вы все можете, все до единого. Вы просто притворяетесь, когда говорите, что не можете. И не боюсь я ничего в мире! — крикнула она, топнув ногой. — Разве не довольно с меня сознать, что я — человек, что солнце всходит и заходит, что сердце мое бьется и что вокруг меня все, кого я люблю, а других мне и не надо!

— Если даже и так, дочь моя, если этого довольно с тебя, с меня и с других просвещенных, то вспомни неразвитое простонародье! Оно не

может довольствоваться этим сознанием. Ему нужно уцепиться за что-нибудь. Иначе оно чувствует себя несчастным.

— Ну, да, вы так внушили этим идиотам. Вот, как мы можем внушить тетушке Солле, что она смертельно больна, пока она не сляжет в постель и не начнет глотать лекарства. Вы изо дня в день твердите этим паломникам, что они жалкие грешники и никуда не годятся—разве только червям на корм—без св. Йоргена... И вот, эти идиоты стекаются сюда каждый год и распевают:

Скажи нам, Йорген, нас любя:
Что было б с нами без тебя?

А вы стоите в уголке да посмеиваетесь себе в бороды и говорите: „Видно, и в этом году хороший урожай на паломников!“

Гросмейстер готов был вспылить.

— Хорошо, дитя мое, ты желаешь переделать свет. По-твоему, наш город—разбойничье гнездо, живущее тем, что дурачит простаков.

— Да,—сказала она.

— Хорошо. Через две недели начнут стекаться сюда паломники. Выйди же им навстречу и скажи: „Извините, дорогие паломники, не лучше ли вам вернуться восвояси? Мы узнали, что все это одна ложь. Евангелие Йоргена—старая басня, наша собственная выдумка. И плащ мы сами смастерили, и вообще здесь нет ничего замечательного, кроме

вашего простодушия“... Что скажут они на это, по-твоему?—Разорвут тебя в клочья или прогонят. С ума сошла, скажут, и не поверят ни единому твоему слову.

Олеандра воззрилась на отца. Так далеко она никогда не дерзала заходить в мыслях.

— А если бы они поверили тебе на слово,—чего быть не может,—и сказали бы: „Неужели? Экая досада! Но делать нечего, пойдем восвояси!“ Что тогда случилось бы с нашим городом? Все существование его с древних пор связано с праздником Йоргена, все жители от подвалов до чердаков кормятся паломниками! Лавки позакроются! Портные, шьющие плащи, останутся без заказчиков и без покупателей! Гончары могут выкинуть свои десятки тысяч глиняных копилочек на дорогу! Гостиницы, странноприимные дома, ларьки, торгующие евангелиями и гимнами, винные погребки будут ненужны. Весь город сразу обнищает. А крестьяне, платящие оброки храму, содержащие и тебя, ты думаешь, они попрежнему будут работать на обманщиков? Ты понимаешь, что каждой крошкой, попадающей тебе в рот, ты обязана этой самой „афере“, как ты выразилась? Понимаешь? По-твоему, достойно глумиться над тем, что кормит тебя самое? Отвечай!

Теперь была прижата к стене Олеандра. Она вдруг почувствовала себя глупенькой девчонкой перед большой, серьезной действительностью.

В этот вечер ей подали ужин в постель.

На следующее утро Гросмейстер пришел опять.

— Дитя мое, тебе, конечно, известно, что ты самая умная, самая красивая и самая знатная девица в городе. Тебе недостает только серьезной цели в жизни. Ты когда-нибудь думала выйти замуж, иметь детей?

— Я не пойду замуж.

— Ты можешь взять себе мужа, когда пожелаешь.

— Кого же это?

— Кого выберешь.

— Да разве есть кого?—безнадежно посмотрела она в окно.

— К сожалению, возможных кандидатов всего двое. Или Герман, сын Секретаря, или Давус, брат Брата Розового сада.

— Давус!!

— Да; или Герман.

— Герман!!

— Да; или Давус... Разве есть другие?

— Нет,—сказала Олеандра и махнула рукой.

— Они оба ухаживают за тобой три года. Не слепа же ты. Выбирай! Но выбирай немедленно. Олеандра подперла щеку обеими руками.

— Они оба наводят на меня тоску,—устало сказала она.

— Где же взять лучших, дитя мое?—сказал отец, удрученный.

Олеандра посмотрела вдаль, на горы. Одинокий лебедь летел куда-то в широкий мир. А вот она обречена топтаться тут и уступать дорогу беззубым или хромым невестам Йоргена... или быть спаренной с... Германом!! Или с Давусом!!

Ее страстное, орлиное сердечко ожесточилось.

— Я не хочу замуж,—твердо и гордо заявила она.

Гросмейстер одобрительно кивнул головой. Теперь он знал—куда свернуть.

Он наклонился к ней. Его серые глаза, спокойные и уверенные, гляделись в ее серые глаза, словно в зеркало.

— Олеандра,—начал он спокойным тоном,—раз ты не хочешь замуж, почему не наметить себе высшую цель? Ты критиковала современные формы выбора невесты Йоргена, отметила глубокий упадок самой идеи. И ты права. Но почему тогда тебе самой не попробовать поднять ее на прежнюю высоту? Ты могла бы. Ты с моею помощью. Стань храмовой невестой!

Сердце Олеандры шибко забилося. Ведь, в самом деле, она могла бы. Она увидела себя самое, гордую и прекрасную, в золоченой колеснице, приветствуемую тысячной толпой народа... И конечно тогда и с Германом! И с Давусом! Уф!.. Вместе с тем какая смелая и глубокая реформа! Какой жестокий

удар комплоту заносчивых старых дев! Она живо представила себе лица Аврелии и Лобелии... Она пылливо вглядывалась в пытливый взор отца. Она не отвечала, но оба чувствовали, что думают одинаково.

— Что скажет Главный Капеллан? — спросила она.

— Он ни за что не хочет, чтобы семья Казначей получила права на храмовой луг южнее его клеверного поля. А что касается Хранителя плаща, то он всегда был не в ладах с Капелланом.

В двух вершках от руки Олеандры лежала роскошная перламутровая раковина. Олеандра смотрела на нее... Ей стоило лишь протянуть руку, чтобы взять раковину... И она чувствовала, что отец не отрывает своих глаз от ее лица.

— Протяни только руку, и—золоченая карета твоя,—сказал он.—Тебе не труднее взять ее, чем эту раковину.

Олеандра взглянула на раковину... и ясно представила себе золоченую карету, пышную свиту невесты, ликование тысячной толпы, злобу и бешенство Аврелии и Лобелии, а в виде противоположности—Германа и Давуса, Давуса и Германа...

И вдруг, решительно, всеми пятью пальцами схватила раковину.

— Да!—проговорила она, встала и гордой поступью прошла мимо отца к себе в спальню...

Восемь дней шла борьба между знатнейшими фамилиями в городе из-за того, кому быть невестой Йоргена. Восемь дней критиковали и интриговали знатные старые девы и их родственники самым ядовитым образом, в то время как Олеандра держалась выжидательно и скромно у себя в покоях; только бледность щек да синие круги под глазами свидетельствовали о внутреннем волнении.

Состоялось одиннадцать совещаний Капитула, и все безрезультатно. Вечер за вечером, словно снегом усыпали залу Совета белые выборные записки.

Тем временем придвинулся вплотную и праздник Йоргена. Старик Коркис уже начал чистить медную пушку перед крыльцом Гросмейстера, откуда подавали сигнал к открытию праздника. А с выборами не подвинулись ни на шаг. И на двенадцатом совещании Казначей и Хранитель плаща ссавались теми же упорными соперниками и так же язвили друг друга.

— У Аврелии все-таки зубы-то еще целы,—сказал первый.

— Но за Лобелией право старшинства,—ответил второй.

— Да, на богадельню,—возразил первый.

— Всякий, кто заглянет ей в сердце...—сказал Хранитель плаща.

— Да, но всякий, кто взглянет на ее физиономию...—прервал Казначей.

Так они и не могли сдвинуться с места.

Гросмейстер счел момент удобным, чтобы завести речь о „молодой невесте“, и через пять минут прекрасная Олеандра, предмет столь многих пересудов, была избрана храмовой невестой.

В „Башне“ ушам своим верить не хотели, но все старозаветные люди поголовно встретили выбор с почти страстным одобрением: Олеандра испустила свои заблуждения, вновь подняв идею, уничтожив то, что делало идею смешной...

Прогремели три пушечных выстрела.

Капитул в полном составе торжественно явился к Олеандре, и на палец ей было надето обручальное кольцо.

Затем они ушли.

Она стояла и смотрела то на кольцо, то на площадь со статуей, около которой толпились паломники с пеннием:

Скажи нам, Йорген, нас любя,
Что было б с нами без тебя?

Какими они казались маленькими, беспомощными и наивными со своим бляением и бормотанием заученной галиматии!.. Как по-детски держались за руки.

„Боже мой!—подумала она, настроенная на иной лад:—действительно, это—истина для всех этих тысяч трепетных сердец человеческих. Я буду для них как бы матерью-заступницей!“

В тот же самый час старый Тобиас сидел у своего приятеля, старого Коркиса, в Розовом переулке и угощался.

— Счастливые вы люди, изо дня в день ступаете по святой земле! Сознаете ли вы, как следует, свое счастье?—шамкал он.

Проходя сюда по переулку Храмовников, он имел счастье поклонить колени перед повстречавшимся ему Секретарем Капитула; на углу Розового переулка видел мельком свиту Главного Капеллана, а едва успел встать и обчистить свои колени, как мимо него прошел храмовой герольд!

— Олеандра избрана храмовой невестой! Тете-те! Ну, не говорил ли я, что господь бог все сумеет повернуть к лучшему!..

В ГОРОДЕ ДЕТСТВА

Город детства,
край родной!
Город Йоргена
святой!
Здесь, под башен
перезвон,
погрузиться
в вечный сон!..
Прочь из мира
суеты!
Час последний,
близок ты!..

Так пела и ликовала душа Коронного вора, когда на башне Катрины пробило семь и зазвонили все городские колокола! Толпы народа с шумом текли по улицам мимо него и навстречу ему... Коронный вор годами жил в одиночестве, как дикий зверь, которого травят. И уже одна возможность окунуться в это изменчивое, бурлящее море людское, раствориться, исчезнуть в этой толпе, наполнила его блаженством.

В толпе шныряли мальчишки-продавцы плащей и пронзительно выкрикивали:— Плащи! Плащи, плащи для паломников!

Так и он бегал когда-то с охапкой длинных плащей из дешевой материи и навязывал их паломникам. Он купил плащ себе и Францу, завел товарища в погребок „Справедливый паломник“, а сам опять пошел бродить с толпой по улицам и переулкам, мимо старых домов и дворцов, знакомых и узнаваемых, впиваясь взглядами, оборачиваясь и прислушиваясь к шопоту в сердце:

Час последний,
близок ты!..

Он остановился. Перед ним был дворец Главного Капеллана. Там жил его отец, его знатный, надменный отец, во всем блеске своего величия. А тут стоял он, сын господина храмовника, семья господ храмовников, отверженное, затоптанное ногами простодушных паломников!

Вон решетчатые ворота, из которых его вытол-

кали... вышвырнули в пучину бед житейских! Он поклялся отомстить и должен отомстить. С быстрой молнии кинется он на Капеллана, отрежет ему ухо или еще что-нибудь!.. Сию же минуту!.. Нет! Нет! Рано! Спокойствие! Спокойствие!

Щеки его пылали, мысли крутились вихрем. Все планы были какие-то худосочные или безумные. Ночь отдыха, и—мысли отдохнут, успокоятся, прояснятся, и он выработает разумный, твердый план—как лучше покорить свой родной город...

Наступила ночь, и толпы паломников разбили лагеря. Молодежь держалась кладбищ. Оттуда неслись взрывы хохота парней и громкие взвизги девушек.

Паломники посolidнее и побогаче приютились в гостиницах и на постоялых дворах Восточного квартала. Далеко за полночь слышался там шум, ~~лине~~ смех и женские крики. Совсем, как в молодые годы Микаэля.

Паломники-бедняки устроились на ночлег под открытым небом, занимая все пространство между источником Йоргена и предместьем Поппельбрёнен. Много тысяч лежало их тут, закутавшись в плащи и одеяла в защиту от вечернего тумана. Совсем, как в детстве Микаэля.

А бедняки побойчей держались около виселицы. Здесь царил буйное веселье, хохотали, плясали и жгли костры. И это помнил Микаэль с детства,

но ему казалось, что теперь веселье стало более разнузданным, чем в те времена, которые он помнил.

Но посреди лестницы Скорби... что там? Что-то новое! Микаэль направился туда: густые, молчаливые толпы глубоко серьезных паломников, со строгими лицами... бедные, изможденные люди, певшие гимны Йоргену, и восторженные проповедники, возвещавшие скорое пришествие Йоргена.

О, Микаэль помнил с детства этих фанатиков, уже тогда вызывавших насмешки и глумление своей болтовней о пришествии и своими молениями, которые они устраивали тогда на северном склоне горы. Но тогда это были жалкие, презренные кучки, а теперь!.. Теперь их насчитывались многие сотни, если не тысячи.

Микаэль навострил слух. Да, одновременно с праздником, достигшим невиданного прежде блеска, многолюдства и буйного размаха, солидно выросло за последние двадцать лет и число фанатически верующих в скорое пришествие Йоргена.

В пламенных речах, неслыханных в старину, звучали резкая критика праздника вообще и поведения господ храмовников в особенности, и жгучее ожидание близкого пришествия Йоргена.

Господа храмовники—свиньи, нечестивые твари, высасывают простой народ хуже, чем в дни Йоргена. Праздник Йоргена они превратили в сплошной отвратительный шабаш ведьм, исполненный непотребства и пьянства, прикрытых святым именем

Йоргена! Сами они открыто глумятся и над плащом, и над храмовой невестой, и над евангелием Йоргена, а храмовых крестьян обдирают безжалостнее прежнего. Но пусть они берегутся! Исполнится мера терпения. Близок час, час Йоргена, час его пришествия! В один прекрасный день он вернется и вновь притянет к ответу знать! Моряки дальнего плавания видели его в Сент-Ибской гавани, в кабачке; видели его и в Трапезунде, сидящим на берегу и высматривающим корабли, а один рудокоп из Восточного округа видел однажды вечером в сумерках странного человека, который сидел, устремив взгляд в сторону Йоргенстада...

Коронный вор пожал плечами: простой народ никогда не поумнеет. Душа его, как клейстер. Гнев изливается у него вздохами, тоской, жалобами и хныканием вместо того, чтобы ожесточиться и закалить душу, сделать ее сильною, мужественною, ~~упорною~~! Все эти проповеди о дне судном... боже мой! Господам и горя мало. Сидят себе в своих дворцах да посмеиваются.

Он прошелся по обрыву до виселицы. И даже он был поражен тем, что услышал здесь.

Вино и ночная гульба развязали языки. Без числа сыпались остроты и анекдоты о господах храмовниках из уст тех же паломников, которые шли за многие мили на праздник Йоргена и которые завтра будут лежать ниц перед теми же самими тиранами.

Гросмейстер—лютый волк в образе человеческого. Главный Капеллан—свинья; нынешнею зимою, на 71-м году своей жизни, изнасиловал пятерых крестьянских девушек, и они забеременели. Тут злостные критики дружно захохотали (очевидно, они сами с удовольствием проделали бы то же самое, если бы только представился случай). Брат Розового сада путем ложной присяги оттягал себе луг к северу от Барсовой мельницы (рассказчики, повидимому, способны были на такой же подвиг). Казначей велел снести пятнадцать хижин крестьян-недоимщиков. Наибольший успех имел, однако, рассказ о молодом храмовом крестьянине, который обязан был доставить в оброк плетушку с курами, но подсунул искушенному опытом житейским Секретарю плетушку с воронами.

— Это куры?—процедил сквозь зубы Секретарь.
— Точно так, ваша милость!
— Почему же они без гребешков?
— Это породистые куры, ваша милость.
— Несутся они?
— Каждый год, ваша милость.
— Ну, стало быть, это куры,—прогнусавил Секретарь...

Крестьяне покатывались со смеху, заставляя Клауса без конца повторять свой рассказ.

Коронный вор тяжело перевел дух. О, это вечное зубоскальство над дурацким самомнением бар

и детскою простоватостью простолюдина! Где бы он ни бывал—всюду ходили такие рассказы!.. Со всем другое дело эти пиетисты, эти закоренелые фанатики... Как все-таки понятны их страстная тоска и ожидание пришествия Йоргена!.. Их пламенная, иступленная вера, упование, что должен же прийти кто-то покарать всех этих пакостников, некто чистый и властный, с бичом в руке, с великим и пламенным сердцем...

Горе, горе только, что нет никакого Йоргена, некому прийти, нет святых! Все—миф, суеверие!

На башне Катрины пробило двенадцать.

Коронный вор опять стоял в толпе слушателей на лестнице Скорби. Речи замолкли. Собрание пело:

Придет день скорби лютый,
надежд крушенья час,—
и Йорген, наш заступник,
очутится средь нас!..

Пьяный парень в белом показался на лестнице и крикнул сиплым голосом:—Вот я, святой Йорген! Бэ!

Раскаты хохота, свалка... Собрание разошлось, но Коронный вор застыл в странном волнении. Вот она, идея! Вот идея! Вот как следует ему явиться! В образе вернувшегося Йоргена! Вот идея! Его резнул по сердцу этот пьяный крик! „Вот я, святой Йорген!“ Но сам Микаэль знал, чувствовал, ощущал каждым фибром тела — как

должен был явиться Йорген—в пламенном величии, в трепетном сознании своей силы и мощи... чтобы восторжествовать и отомстить... как сам Микаэль... Он сумел бы... сумел бы!.. Нет... Нет... Этот план безумен!..

Часы на башне Катрины пробили час пополуночи.

Коронный вор стоял в Розовом переулке—где родился и провел свое детство. Переулок спал. Какой он тесный, маленький. Тут бродил Микаэль ребенком, невинный и праздный. Сердце его билось... Шаг замедлился... Вон садик с розами и домик Коркиса. Там спит его набожная мать и кроткий старый дед. Они считают его мертвым, набросили пелену скорби и стыда на его память... не ожидают больше его возвращения. Да и как могли они ожидать? А вдруг бы он нагрелся.. Вдруг бы решился осуществить свой великий план! Вихрем пронеслось в голове: Да! Да! Да! Завтра или никогда!... И снова охватила его идея пришествия Йоргена. Он не мог избавиться от нее; она его околдовала. Но ведь это безумие, несбыточный бред. Хотя заманчиво, заманчиво... Вся кровь кипит и волнуется...

Часы на башне Катрины пробили два.

Коронный вор стоял на холме у виселицы. На виселице болтались отвратительные останки

злополучного существа. Внизу валялись рваная шляпа горемыки и кучка белых костей других горемык... подобных ему пасынков жизни. Завтра и он кончит здесь, если затея его не удастся. А она, разумеется, не удастся... Два черепа зияли провалами ртов навстречу один другому. Вечерний сумрак мягко окутывал их. Час за часом—мир и тишина; забыты позор и отвращение... ужас и разбитые надежды. Как они отдыхают... Как равнодушны к презрению живых. Никто и ничто не может больше поразить их... или унижить...

...Да!.. И он весь похолодел от страстного желания попытаться осуществить свой отчаянно-заманчивый план...

Что-то зашуршало, зашевелилось в кучке костей. Потом затихло. Опять зашевелилось... Оказалось—большая крыса. Это она тут копошилась и разнюхивала. Самые кости были спокойны. Им хорошо было. Крысе приходилось хуже. Она была ведь живая... и ее глодал голод. О, до смешного мало значили все презрение, крикливый позор и все ужасы мира в сравнении с этим миром мертвых костей, которого не мог нарушить никакой петушинный крик.

Да, он попытается. Теперь он знал, что попытается. И горячая неуверенность разом схлынула с него. Его охватило холодное спокойствие.

Он посмотрел на гору Йоргена и улыбнулся. Чем в сущности страшны все эти твари там

наверху? Разве они не те же ходячие скелеты—со всеми своими угрозами и брыканием?

Завтра он, подобно этой крысе, попробует расшевелить мертвые кости.

Часы на башне Катрины пробили три.

Коронный вор стоял в священной роще. Открытая площадка перед храмом была пуста и сумрачна... Храм напоминал театр, сцену, свою папертью и белыми ступенями широкой священной лестницы, на которую не смела ступить нога простого смертного.

Фиглярство! Он перелез через решетку и вошел на лестницу по самой ее середине. Повернулся лицом к зрительной площадке. Да... вот оно, место пришествия. Здесь должен появиться Йорген. Потребовать их к ответу, излить свое негодование, обжечь всю свору пламенем своего властного гнева...

Но хватит ли у него силы?

Он стоял и раздумывал-раздумывал под свист ветра в роще. Он представлял себе площадку залитою волнами народного моря... Поверят ли они ему на слово? Или потребуют доказательств? Каких? Чуда. Чуда с плащом, разумеется. Исцеления потребуют все эти калеки и расслабленные...

Он сразу вспомнил о Франце и расхохотался, неслышным, клокочущим смехом до слез, до сердцебиения.

Будет им и пришествие, будет им и чудо. Годами травили его, как мошенника, завтра он разыграет новую роль, освежит свое старое искусство, начнет вдохновенную игру... Ставкой будет жизнь; проигрыш означает смерть, смерть и покой, а выигрыш—победу, месть, торжество!

Часы на башне Катрины пробили четыре.

Коронный вор прошел по луговине; рассветало, рядами лежали спящие паломники, тихие, недвижимые, как мертвые тела на поле сражения, как мертвые кости там под виселицей, окутанные утренним туманом,—паноптикум восковых фигур... великий паноптикум жизни.

— Спите, спите себе! Завтра вернется святой Йорген!

II

НА ПУТИ К СВЯЩЕННОЙ РОЩЕ

День склонялся к вечеру.

В третий раз зазвонили в роще колокола, и по улицам потекли к храму людские толпы.

Это необычайное скопление народа в день выноса плаща являлось одною из главных приманок праздника. Спереди—головы; сзади—головы, и все движутся в одном направлении—к храму, к роще, к священной лестнице; настроение мощно подымалось; на лицах проступало умиление. Скептики и насмешники увлекались общим потоком. Все радовались, как дети.

„Глядите, какая толпа валит!“—думал каждый. „Глядите, сколько нас! Это, ей-Иорген, что-нибудь да значит!“

Там и сям, в дверях своей лавки, стоял деловой человек и трезво, холодно смотрел на толпу хитрыми глазами, как стригущий баранов на свое стадо.

— У этого молодчика наглые глаза,—говорил то тот, то другой паломник с досадою и неприязнью к тому, кто оставался вне общего круга, не желая проникнуться общим настроением. Но, поглядев потом вперед или назад, такой паломник снова обретал благочестивый мир души и думал: „Не может быть, чтобы мы были смешны. Нас большинство, и, стало быть, мы избрали благую долю“. И они снова решительно поджимали губы и бросали полные сожаления взгляды на беднягу, который не был в толпе вместе с большинством.

ПЕРЕД ВЫНОСОМ ПЛАЩА

У входа в рощу давка и шум достигали прямо чудовищных размеров. В роще кричать запрещалось. И престранно было вдруг втиснуться в эту шепчущую толпу под деревьями.

Площадка перед храмом была запружена людьми. Все вытягивали шеи, чтобы видеть белые ступени ведущей на паперть священной лестницы, на которую не ступала ничья нога человеческая. Лестницу ограждала золоченая решетка; по бокам ее шли еще две лестницы, покрытые желтыми коврами. Средние ворота храма вели в святилище, где хранился чудотворный плащ, и были заперты, как, впрочем, и боковые ворота.

На паперти стояло шесть золоченых с чернью сидений для храмовников, по три с каждой

стороны средних врат. Посреди, перед белой лестницей, возвышалось вызолоченное кресло Гросмейстера.

На крыше храма, скрытые балюстрадой, разместились музыканты и настраивали инструменты. Виднелись только их головы, да время от времени высовывался конец фагота или трубы.

Раздались три удара гонга.

Боковые врата распахнулись, и двое служек в красном трико бегом сбежали по боковым лестницам, неся в серебряных чашах угли, которыми разожгли благовонные курения в больших урнах, стоявших с каждой стороны главной лестницы.

Гул пронесся в толпе. Многие привставали на цыпочки, чтобы лучше видеть.

Заиграла музыка.

Ах, какие милашки!.. Из боковых врат высыпали две группы девушек с большими цветочными корзинами и стали усыпать розами священную лестницу. Лица у них были такие торжественные. Одна плакала. И была так мила. Все смотрели на нее! Такая прелестная, трогательная.

Толпа затаила дыхание. Звуки музыки сливались с вечерним щебетом птиц.

Господа храмовники сидели в большой храмине. Их брили и облачали. Ни мыла, ни полотенцев не жалели. Слуги так и бегали с тазиками мыльной воды и с плоеными воротничками. Капеллану жал

один сапог, и он рычал от злости. Гросмейстера порезали бритвой.—Свинья!—рявкнул он и дал цырюльнику пинка.

— Урны зажжены? — Да, урны зажжены. — Пройдут ли наконец цветочницы на паперть?.. Потарапливайтесь, чорт вас подери!—кричал Капеллан растерянным девушкам. (Свита невесты составлялась из дочерей господ храмовников, а в цветочницы брали дочерей зажиточных бюргеров, поэтому с ними не особенно церемонились.) Одна из девушек в замешательстве опрокинула тазик с мыльной водой на плоеные воротнички. Суматоха!.. Уронили три корзины с цветами прямо в мыльную лужу. Подскочили Капеллан и Гросмейстер. Девушки разревелись.—Марш! Рассыпайте цветы!—Девушки стиснули зубы и выбежали в боковые врата.

Перед большим зеркалом стоял Давус, новый герольд, которому предстояло сегодня вечером дежурить. Он твердил свои реплики, записанные на бумажке; один слуга чистил ему передний зуб, другой штопал сзади лопнувшее трико. На щеках его горел чахоточный румянец.—Не спешите! Помедленнее!—шептал он цветочницам.

Хранитель плаща вместе с набожным старым сторожем храма вошел в святилище, где хранился плащ.

Дирижер оркестра на крыше нагнулся и сунул в лок голову в ожидании сигнала.

— Игратьте, дьяволы!.. — Музыка нежно заиграла, разносясь под густою сенью священных деревьев, повитых сумерками.

В притворе стояли служки с балдахинами, свистящим шопотом переругиваясь между собою из-за кистей и шнурков. Кто-то постучал костяшкой пальца о косяк двери, и они испуганно смолкли.

А в роще напряжение ожидания достигло высшей точки. Ближе всех к лестнице стоял Франц на своих костылях, рядом со старым Тобиасом, который что-то шептал и волновался, с видом знатока. Франц получил инструкцию от Коронного вора и трясся, как осиновый лист.

Налево стояла группа знатной молодежи, обращавшая на себя внимание. Это была компания из „Башни“, которая сговорилась в этом году явиться на праздник, отчасти чтобы „понаблюдать народную жизнь“, отчасти чтобы присутствовать на дебюте Давуса с трубой и в трико. Был тут и Герман, сухой, подтянутый, была Тимофила, дочь Секретаря, и хохотушка Роза, младшая сестра Олеандры. Они болтали и смеялись довольно бесцеремонно, возбуждая негодование и вызывая шикание со стороны более пожилых паломников.

Музыка заливалась. Старые паломники взволнованно хватали друг друга за руки, как пожилые причастницы в тот момент, когда пастор, бормоча молитвы, приближается к ним с облатками.

Чу! Грянул торжественный марш храмовников. Идут! Идут!.. Боковые ворота растворились опять, и величественным, мерным шагом вышли господа храмовники, в фиолетовых парадных плащах, расшитых драконами, и уселись на золоченые сидения. За ними гурьбой высыпали храмовые служки-мальчишки с опакалами и балдахинами.

Безмолвное благоговение охватило толпу. Перед ней были семь могущественнейших мужей города и всего округа.

Все улыбки сбежали с лиц.

— Смотрите... Давус выходит! — шепнула Тимофила, забавляясь. Хохотушка Роза закусил губы.

Давус, в расшитом золотом зеленом одеянии герольда, выступил вперед и протрубил три раза в священный рог. Руки его дрожали.

— Секретарь Капитула приветствует всех и открывает собрание верующих чтением годового счета! — прокричал он, потея и стараясь не взглянуть на группу из „Башни“.

Секретарь, жирный, пресыщенный, вышел вперед с документами и равнодушно загнусавил:

— Двести пятьдесят третий праздник Йоргена открыт. Привет всем! — Храм за истекший год посетили 18.000 паломников, из них 8.400 прикасались к плащу. Из этого числа 310 человек получили чудесное исцеление. Двое калек вернули себе частичную способность движения и бросили костыли. 43 человека исцелились от чесотки погруже-

нием в источник; остальные получили значительное облегчение.

(Группа с „Башни“ подталкивала друг друга локтями).

— 17-го января поставлена новая труба. 3-го марта мы имели несчастье потерять храмовую невесту. Ее милость отошла в вечность на 81 году своей жизни от упорной крапивной лихорадки.

— Они бы окунули ее в источник,—сказал старый Тобиас. Взрыв веселья был ответом на это наивное замечание.

— А может, у нее водобоязнь была?—сморозил какой-то фермер. Он немножко перегрузился.

Новый взрыв веселья, сопровождаемый негодующим шиканием.

Секретарь стал перечислять суммы, завещанные на дела благотворительности, и после каждой цифры и указания назначения прибавлял:

— Да будет благословенна память жертвователя.

— Гросмейстер! Отчет прочитан!

Снова выступил Давус со своим рогом,—на этот раз уже без замешательства:

— Главный Капеллан прочтет главу о бегстве святого Йоргена.

Раздались звуки фанфар, и толпа заволновалась.

Главный Капеллан всегда возбуждал сенсацию своим могучим сложением, громовым голосом и жизнерадостным бесстыдством. Не счесть было его

любовных походов; славился он и своим ростовщичеством. Жертвы свои обдирал, ухмыляясь; снимая с жертвы последнюю рубашку, отпускал на придачу остроты.

Его встретили рукоплесканиями. Он поклонился, польщенный, и громогласно, картавя, сдобным голосом запел:

Свой взор в святые письма
днесь погрузим мы снова
и про былые времена
прочтем благое слово!

Служка поднес ему евангелие Йоргена, и он начал читать.

Из восьми крупных и желтых передних зубов его, расположенных веером, один выпал, что, однако, не мешало крепкому старику кокетничать довольно успешно.

— Во дни оны,—читал он, нараспев,—великие мужи града сего вели жизнь поистине греховную...

— Как и посейчас!..—бесцеремонно врезался тоненький голосок в искусственную паузу Капеллана. Он проник во все углы собрания, и, под аккомпанемент чтения, над тысячеголовой толпой понесся настоящий вихрь шопота и фыркания, пока не достиг входа в рощу, где веселье стало уже безудержным.

Лишь группа из „Башни“ хранила серьезный вид, почувствовав себя обиженной.

— Чернь!—сказала Тимофила.

— Скоты!—бросил Герман.

Наконец волнение улеглось. В толпе произошло тихое движение, и двое дюжих служителей храма извлекли шутника, после чего несколько сбитый с тона Капеллан продолжал свое чтение евангелия Йоргена, монументальный текст которого понемногу вновь привел всех в серьезное настроение.

С холма Висельников в это время спускался в город путник в пыльной одежде пастуха, в широкополой шляпе и с посохом.

Это был Микаэль Коркис. „Теперь я святой Йорген,—думал он.—Итак, я возвращаюсь на родину после 300-летнего отсутствия“.

Он прошел через Крапивный клин у старой водокачки и остановился на пустой Йоргеновской площади, у садовой стены дворца Гросмейстера.

„Вот тут они воздвигли мне статую. Хорошо. Но город пуст. Верно, все у храма в ожидании выноса моего плаща“.

Так входил он в свою смелую роль, в эту головоломную игру, которую хотел разыграть в последний вечер своей жизни.

Солнце готово было закатиться за дальними горами.

„Все еще нет эстафеты от курфюрста!“ Он вдохнул в себя вечерний воздух (в последний раз), оглядел дома (в последний раз).

... Он был в странном настроении. Вся жизнь как будто лежала перед ним, озаренная закатным

сиянием, как готовое померкнуть и угаснуть марево. Было что-то торжественное в этой картине. Улицы были как будто улицами сказочного города, где часы жизни коротки и быстротечны. Дома подобны гнездам мух-поденок, живые существа подобны мухам-поденкам, и сам он подобен заблудившейся мухе-поденке, которая хочет последним усилием воли растянуть, продлить отпущенные ей сутки жизни.

В третий раз зазвонил храмовой колокол в роще. Теперь они там начинают. Минута приближается. Пора.

„Надо мне пойти к моему храму,—думал он,—но сначала я побреюсь“.

Он зашел в подвал цырюльника и велел сбрить себе бороду. Пока его брили, он с грустной торжественностью расспрашивал изумленного цырюльника о событиях, происшедших в городе 200—300 лет тому назад.

Цырюльник голову терял, и весь персонал его столпился в дверях, провожая взглядами диковинного пилигрима, который, расспросив о дороге к храму, направился по Брачной аллее. Гладко выбритый, юношески красивый и властный, он в то же время поражал какою-то странною замкнутостью и тем любопытством, с каким разглядывал дома и людей.

Сам св. Йорген шел по улицам к Священной роще. По звукам труб, знакомым с детства, он мог

следить—до какого места обряда они теперь дошли там; через пять минут Капеллан кончит свое чтение и—пробьет его час!

С трудом пролагал он себе путь в толпе, не переставая думать про себя: „В последний раз они меня выгнали из города. Триста лет скитался я по свету, видел, как нарождались и умирали поколения людские, и вот я вернулся!“

ПРИШЕСТВИЕ СВ. ЙОРГЕНА

Главный Капеллан кончил. Собрание успело задремать. Теперь очнулось.

Грянули трубы.

Гросмейстер величественно встал и подал своим серебряным колокольчиком знак к тишине.

— Сейчас начнется!—шептали старые паломники.

— Ключарь!—возгласил Гросмейстер, — переданы ли золотые ключи от священной лестницы святого Йоргена?

— Гросмейстер, — был ответ, — ключи переданы.

С крыши прозвучал одинокий удар гонга.

— Хранитель лестницы! Отомкните, дабы явлен был народу святой плащ.

Затаенное дыхание... вытянутые шеи... лязг священных ключей о священную решетку...

— Гросмейстер, лестница открыта!

Два удара гонга. Движение и давка в толпе.

— Брат Розового сада! Усыпана лестница розами?

— Гросмейстер, лестница усыпана розами!

Три удара гонга, и под бравурный марш оркестра господа храмовники встали и с молитвой удалились в боковые врата.

Гросмейстер один вышел на середину опустевшей паперти и опустился на колени перед священной лестницей. Кивок головы—и служки-мальчики поспешно накиннули на коленопреклоненного великого мужа самую парадную мантию, белую, как снег, надели ему на голову белую шапочку, на ноги белые туфли и дали в руки белый жезл.

Музыка грянула и разом смолкла.

Белый, торжественный, выступил Гросмейстер вперед и, махнув рукою, чтобы водворить тишину, возгласил:

— Итак, священный плащ святого Йоргена будет сейчас явлен всему народу—бесплатно. Кто же пожелает собственноручно прикоснуться к святыне, должен обратиться в контору и одновременно предъявить Йоргеновскую копилку с установленной лептой. Новые копилки с гербом храма можно приобретать там же сегодня и в течение двух следующих дней.—Отверзите же литые... Ах, да, пока не забыл: вы там, в задних рядах, не напирайте слишком на передних, когда вынесут плащ, дабы никто не пострадал в давке, как в прошлом году, когда нам пришлось отметить

несколько прискорбных увечий. Кроме того, ради сохранности священной рощи, Капитул строго воспретил в этом году взлезать на деревья. Сойдите же все!.. Итак, отверзите литые врата храма!..

Музыка заиграла, священные колокола зазвонили. Мистический ужас объял толпу... Главные врата храма с грохотом растворились, и оттуда хлынула толпа девушек и юношей в пестрых одеяниях, с розами и кадильницами и с ликующим пением:

Под медное гуденье
торжественной стопой
идут в слезах и с пеньем
храмовники толпой.
И зрит народ смиренный
святого плащ нетленный,
тот самый, чей позор
зрел наших предков взор!..

Из сумрака храма вышли господа храмовники, все в белых одеяниях, словно мертвецы в саванах, в высоких золотых шлемах и с длинными золотыми копьями, неся на чем-то в роде подставки сине-зеленый окровавленный плащ. Гросмейстер с воздетыми руками пал на колени, вознося молитву.

И вся бесчисленная толпа пала на колени. Женщины громко рыдали, из глаз мужчин капали слезы.

Снова встал Гросмейстер и воскликнул в экстазе:

— Словно облака в бурю, скользят по лицу земли тысячелетия, но среди бури времен неизбежно стоит на страже плаща святого Йоргена Капитул его храма. Благочестивые братья храмовники, освободитесь от своих шлемов и копий и помогите мне воззвать с мольбою к странствующему в неведомых краях святому.

Господа храмовники преклонили колени, и Гросмейстер громко провозгласил:

— Святой, далекий странник! Услышь призыв наш: святой Йорген!..

— Я здесь!—неожиданно прозвучал ответ.

Великое замешательство и смятение.

— Святой Йорген!!

— Я здесь!—раздался тот же голос, и какой-то человек проложил себе путь сквозь коленопреклоненную толпу.

— Святой Йорген!!!—проревел Гросмейстер, как разъяренный бык.

— Я здесь!—в третий раз отозвался Микаэль у самой лестницы.—Вы спасли мой плащ?—И прежде, чем кто успел прийти в себя от страха, он уже очутился на священной лестнице.

Высокое собрание храмовников превратилось в бушующее море ярости. Крики и проклятия встретили дерзкого.

— Он осмелился взойти на лестницу!

— Он берет плащ!

— Безумный пес! Разве ты святой Йорген?

— Плащ мой!—крикнул Микаэль.—Я святой Йорген! Я вернулся к вам!

— Лжет он!—завизжал Тобиас.

— Я лгу?—крикнул Микаэль, с дерзостью отчаяния.—Троньте меня, если смеете, собаки!.. Клянусь вам, если вы опять выгоните меня из города, как в последний раз, в брачную ночь мою, я вернусь в третий раз и камня на камне не оставлю от города!

— Это сам Йорген,—пролепетал Тобиас.

— Это его голос!—закричали другие.—Это друг бедняков!

Поднялся такой шум и ропот, что Гросмейстер на минуту растерялся, а тут дорога была каждая секунда.

Вмешался Главный Капеллан, бесцеремонно оттолкнул Гросмейстера и презрительно крикнул толпе:—Или вы рехнулись? Святой Йорген давно мертв и погребен!..

Микаэль, очутившись лицом к лицу с отцом, с быстротой молнии использовал промах Капеллана.

— Я мертв?—крикнул он оглушительно, стиснул свой можжевелевый посох так, что костяшки пальцев побелели, и хватил им прямо по лбу Капеллана. Посох треснул, а Капеллан зашатался и отступил перед искаженным от гнева и ярости лицом пришельца.

— Что же, мертв я?—наступал Микаэль с пеной у рта на оглушенного великого мужа.—Или

ты почувствовал теперь, что я жив еще, почувствовал, надменный плут, седовласый прелюбодей!..

Паломники, Гросмейстер, храмовники, герольды, певчие мальчики и девушки стояли, ошеломленные этим взрывом ненависти и гнева.

Старый Тобиас ринулся вперед, вздыхая, трепеща, словно его самого вздули:

— Если ты святой Йорген, дай нам знамение!

Выступил вперед, ковыляя, и Франц с криком:

— Знамение! Знамение!

— Бедный человек!—воскликнул Микаэль, обернувшись, и, словно задыхаясь от жалости, распростер над ним руки, затем коснулся его:—Встань и брось костыли!

Все сердца, все языки остановились от изумления, глаза вытаращились: калека выпрямился на ногах, выпустил костыли... и заплясал в диком восторге:

— Я могу ходить! Я могу ходить!..

Буря ликования, ураган восторженных криков то достигали апогея, то стихали, то вновь подымались, а по спинам у всех пробегал холодок внутреннего волнения.—Он ходит! Он ходит!

Даже члены группы из „Башни“ глядели остановившимися глазами, побелев в лице, как обсыпанные мукою мельники, на этого властного человека с пламенным взглядом, просветленным лицом и страстно вибрирующим голосом.

— Да разве бывают чудеса?..—пролепетала Тимофила.

Но тут хлынули к лестнице калеки с клюками и костылями.—И меня исцели! И меня!—кричали они с мольбой Микаэлю.

— Не сейчас!—ответил он.—Подождите до завтра!—И властно вступил в круг храмовников, трепещущих или застывших около поверженной подставки.

— Накинь на меня плащ, старый бездельник!—крикнул он прямо в лицо Гросмейстеру так, что эхо отпрянуло от стен храма и, пронесшись над мертвенно-тихим морем человеческим, замерло под тенистыми кронами храмовой рощи. Крикнул с такою ненавистью и силой, что обрызгал своею слюною ошеломленного великого мужа.

— Смилуйся, смилуйся,—вырвалось у колено-преклоненного Гросмейстера, когда он собственноручно прикрыл плащом плечи святого.

И, не теряя ни секунды, не давая растерявшимся храмовникам опомниться, Йорген крикнул опять:—Эй вы, двое ослов!—и двинул рукой в сторону Казначей и Секретаря, едва давая Гросмейстеру время расправить складки его плаща.—Живо приготовьте мне трапезу! Я пространствовал ради вас, бездельников, триста лет. А вы, две обезьяны, приготовьте мне омовение и постель! Остальные двое останьтесь здесь и ждите моих приказаний!

Со стороны храмовников слышались только растерянные:—Смилуйся, владыка! Смилуйся!—Зато очарованная толпа бурно выражала свое одобрение, видя, как высокомерные старые тираны сгибались перед пламенной властью молодого святого.

А в страстно возбужденном мозгу Микаэля кипели идеи. Плащ облекал его теперь крепко, и он, величественно ступив на верхнюю ступень лестницы, подал знак к молчанию, к полному молчанию:

— Объявляю всем,—провозгласил он,—что ныне святой Йорген вернулся на родину и самолично вступил в управление святым своим храмом. В ознаменование же того, что я всех хочу обрадовать, слагаю все повинности, установленные в пользу храма, как бы они ни назывались; отменяю их отныне навсегда!

Народ хранил гробовое молчание, как бы не в силах осмыслить, понять идею, лежавшую над уровнем его сознания.

Но Йорген махнул рукой и крикнул, словно перед ним были тысячи совсем глухих и тугухих:

— Вы свободны от всех оброков и барщины!

Только теперь как будто поняли они. Восторг хлынул наружу; радость освобождения и поклонения волной разлилась по Брачной аллее и достигла площади, куда стали сбегаться обыватели, спрашивая, что случилось. Паломники плясали,

взявшись за руки, старцы обнимались, женщины с рыданиями обнимали своих детей и даже чужие между собой люди радостно хватали друг друга за руки. А Йорген все еще стоял наверху, в своей величавой позе, ожидая, когда шум уляжется.

Идеи, одна смелее, гениальнее другой вихрем кружились в его голове.

— Затем повелеваю в течение трех дней звонить во все колокола в честь моего возвращения.

Новый взрыв восторга, и один из храмовников шмыгнул, чтобы передать приказ.

— Дальше: сегодня же вечером зажарить на площади целиком десять упитаннейших храмовых быков для угощения моих дорогих сограждан и гостей. Большую чашу перед ратушей наполнить до краев самым крепким старым пивом из подвалов моего храма и выкатить по бочке лучшей водки для каждой корчмы в городе.

Последний храмовник с поклоном выскользнул исполнять приказы, а толпа разом грянула, словно из самой глубины своих потрясенных сердец, старый гимн святому:

Йорген, наш заступник верный,
будь с тобою благодать!
Все мы в радости безмерной,
стар и млад пойдет плясать
В круг! Тесней сомкнем объятия,
дорогие братья!..

Не сморгнув бровью, стоял Микаэль, принимая поклонение. И последним его наитием, внутренне рассмеявшимся его самого, было:

— Наконец, я с безграничным гневом слышу, что некий отчаянный разбойник, прозванный Коронным воров, осмелился проникнуть сюда, на мой святой праздник, как будто Йоргенстад опять стал пристанищем воров и грабителей.—И он обратился к Гросмейстеру:—Почему мой высокий Капитул до сих пор не заключил негодяя в тюрьму?

Воцарилась тишина. Все головы повернулись к Гросмейстеру.

— Да не охота им ловить его, Йорген!—с живостью крикнул старый Тобиас.

— Отвечай!—прогремел Йорген к Гросмейстеру, который не мог произнести ни слова.

— Хорошо!.. Гросмейстер! Я повелеваю, чтобы этого негодяя немедленно разыскали! Пусть обшарят все харчевни, корчмы и погребки в городе! И горе вам, господа храмовники, если он завтра же не будет болтаться на виселице!..

Снова в погружавшейся в сумрак роще забурило ликование. Огни урн бросали яркий свет на молодое, властное лицо святого и колебали его гигантскую тень на стенах храма.

— А теперь я устал от своего долгого странствия, хочу отдохнуть и омыться прежде, чем принять мою невесту.

— Смотри, не простудись, Йорген!—крикнул старый Тобиас со слезами на глазах.

— Завтра мы увидимся на стезе Искупления, когда мы с невестой моей поедem к источнику. И там я исцелю всех вас, дорогие мои калеки и болящие!

Весь дрожа от сознания своей власти, вошел святой в храм, и тяжелые врата закрылись за ним. Но разгоряченная толпа час за часом продолжала стоять у лестницы, пополняясь новыми пришельцами из города и выделяя из себя жаждавших разнести по городу великую новость. То и дело гремели крики одобрения и радости по направлению к повитой вечернею мглою крыше храма и пустой лестнице, где еще недавно стоял Йорген и где огонь в урнах понемногу угасал.

Отворились украшенные драконами ворота храмового двора в глубине рощи. Выехали телеги с винными бочками и пивными боченками. Сквозь толпу прогнали десяток жирных быков, чтобы зажарить их на кострах на площади Йоргена.

Тогда и толпа рассеялась; народ стал кучками, с пением и криками, направляться на главную площадь, а площадка перед храмом опустела, заволоклась мраком.

ВЛАДЫКА ХРАМА

Микаэль Коркис быстрым и твердым шагом, как власть имущий, вошел в самое святилище

храма своего родного города. Захлопнул за собою дверь и бросился на ложе.

Он одержал победу! Боже милостивый! Но сердце его колотилось так, что он почти задыхался. Все это напряжение, весь этот взрыв фантазии, самовластия и страсти требовали нечеловеческого напряжения сил; теперь наступил момент слабости.

Пот сочился изо всех пор его тела. Непреодолимые судорожные рыдания сотрясали его, как бывало после исполнения им одной из его коронных ролей—Гамлета или Отелло.

Слезы облегчили его, к нему вернулось самообладание, и он с удивлением осознал теперь, как легко дался ему успех, против всяких ожиданий легко.

Он в решительный миг действительно забыл свое настоящее „я“ и был св. Йоргеном, чувствовал себя владыкой храма, мстителем Йоргеном. Роль захватила его. Такова власть воображения. Оно одело плотью и кровью чистый миф. Так пастор дома с трубкой в зубах небрежно отсчитывает облатки для завтрашней обедни и роняет одну-другую на пол, и склеивает обломки, ибо знает и видит по этикетке коробочки, что это просто мучные облатки, сфабрикованные там-то; и он же утром, в полном облачении перед алтарем, берет эти облатки двумя пальцами с торжественной осторожностью, с благоговением, ибо

теперь он входит в роль и, совершая положенный обряд, твердо верует, что мучные облатки чудесным образом претворились в плоть и кровь. И своею горячею верою заражает паству, заставляет и ее верить в то же самое чудо—на время.

Да, смерть витала вокруг Микаэля! Игра велась на жизнь или на смерть. Усумнись он в себе хоть на миг, он бы тотчас же проиграл всю игру...

Как раз в самую решительную минуту перед ним всплыло лицо его отца, Главного Капеллана, во всей его отвратительной наглости, и в Микаэле вспыхнул такой неподдельный, всепожирающий гнев, что он не мог сдержаться; он должен, должен был раздробить свой посох об эту физиономию гориллы, а там хоть самому погибнуть!..

Микаэль лежал и, смеясь, поглаживал свой вспотевший лоб. В последний раз он видел своего отца в тот день, когда подростком еще проник в его дворец, беспрепятственно прошел по всем покоям и, очутившись перед ним—смелый, спокойный, почти детски доверчивый, лишь с легким оттенком задора,—сказал: „Ты ведь отец мой!“

Увы! Надежда и счастье, вера и доверие, улыбка и беззаботность, спокойствие и мир—все рухнуло в тот день и для него, и для его близких, рухнуло от этих слов, произнесенных наивными устами подростка. Арест, плети, глумление, позор,

бегство, слезы матери, нищета, ожесточение, преступление...—вот что принес ему тот день, когда он, долговязый подросток, наивно верил еще, что в этом мире достаточно сознавать свое право, достаточно обиженному выступить вперед—просто-душно и доверчиво, с открытым лицом—и заявить о своем праве.

Это кроткая и чистая душа деда поддела его тогда на такую удочку! Теперь дед, верно, сидит себе дома в Розовом переулке, сгорбленный, покорный, но попрежнему набожный и горячо верующий; знает, знает, знает, что все это великолепие—обман, но его душа простолюдина, похожая на клейкую облатку, не может отстать от суеверия и только никнет, как больной цветок, отталкивает от себя сухую истину и льнет, и цепляется с мольбой за чисто простонародное представление, что, будь даже все это вздором, настоящим жуандой, явной чепухой, очевидным безумием—все же это достаточно верно, неоспоримо, истинно... должно, должно, должно быть истиной, а стало быть—и есть сама истина.

Но Микаэль твердо отбросил от себя воображение и направил все внутренние здоровые силы души к одной цели: отомстить, получить удовлетворение. И он получил удовлетворение, сломал свой посох об олицетворение грубой наглости. Негодование придало ему сил, помогло увлечь народ своим судорожным порывом, даровало ему

победу, почти столь же непостижимую, сколь решительную.

Удалось!.. Ха-ха-ха! Удалось! Один за другим должны были согнуть перед ним свои спины все эти важные господа храма, отказаться от своего разума и пасть на колени!

Он ведь отлично знал, что в разуме человеческом бывают минуты отлива, когда достаточно маленькой бури страстей, чтобы обнажилось дно, дно разума, мрак души, мозг зверя.

Он видел их там на паперти, сначала негодующих на перерыв церемонии, затем взбешенных дерзостью и нарушением неприкосновенности священной лестницы, затем смущенных колебанием толпы и, наконец, ошеломленных ударом разлетевшегося на части посоха; после того они уже проглотили „чудо“, как стакан парного молока!

О, эти важные, надменные господа! Эти акулы природы! Такие сильные, ловкие, добычливые жизни, во всем житейском! Такие толстокожие, закованные в броню! Но и у них была своя слабость, свое больное место! И Микаэль это место знал.

У простолюдина легко нащупать слабое место. У простолюдина их много; он весь состоит из слабостей и больных мест. Где ни нажми на него, он вздрагивает и пугается. Лишь в одной точке он более или менее неуязвим, а именно—в своей покорности судьбе, в готовности итти ко дну. Он

вообще всегда чует в воздухе смерть, против воли своей чует смерть и гибель; всегда более или менее готов без особого сопротивления дать себя удушить; всегда у него на языке вертится последняя молитва, всегда в запасе свой Йорген, приготовлены на всякий случай денежки за разрешение коснуться чудотворного плаща, и хранится свято и нерушимо старая благоразумная прабабушкина вера, та самая, что одной ногой стоит в небесах, а другую в сточной канаве на земле.

А вот где было самое больное место этих самоуверенных, жадных, раздутых, важных господ: жадность, любостяжание и тщеславие делали их зоркими и глубоко сведущими во всех человеческих и житейских областях, но в области религии они были жалкими выскочками, круглыми невеждами, беспомощными тупицами, обреченными в жертву первому шарлатану. Наследственному старому суеверию своих прабабушек, обостренному и отточенному неустанными стараниями многих поколений до степени непреложной уверенности, этому суеверию они давно свернули голову. Слишком наивно было оно, простонародно-скромно и убого, бедно житейскою мудростью и силою; вот они и выкинули его в помойку. Да, оно было для них недостаточно тонко; они выросли из него; новым же обзавестись им, столь жадным до жизни, некогда было. И религиозный уголок в их душе был совсем запущен, засорен всяким мусором,

черепками старых верований, покрытыми пылью и паутиной забвения и равнодушия.

Вот в чем Микаэль Коркис имел над ними мощный перевес. Его религия была здоровая, ядреная, будничная, обветренная всеми ветрами земными. Ежедневная смертельная опасность научила его с хладнокровием лисицы, с беззаботностью бабочки шмыгать и порхать по самой границе между жизнью и смертью, сделала недоступным страху, не теряющим присутствия духа и способным хладнокровно учитывать всякие возможности. В мгновения наивысшего религиозно-мистического ощущения жизни—как вот полчаса тому назад на ступенях священной лестницы—он мог чувствовать себя сильным, как Лютер в Вормсе, как будто во всем мире был и существовал только он, один он, а все остальное было фантасмагорией. В такие минуты он становился сильным, сильным, непреодолимо победоносно сильным. А в самые слабые свои минуты он воспринимал жизнь и весь мир так, как будто сам весь растворялся в целом, не жил, не существовал больше сам по себе, но как-то безлично, инертно, блаженно „покоился в божестве“...

Чу! Зазвонили колокола, все колокола его родного города, все до единого, звонко, наперебой—в честь него, в честь его возвращения... Звон их врывался внутрь храма, свидетельствуя, что Микаэль сдержал свое слово, „вернулся в силе и

славе“, заставил свой медвежий угол приветствовать его флагами и звоном колоколов.

Микаэль протяжно и глубоко вздохнул, стер с лица последние следы судорожных слез, вскочил, распростер руки, расширил легкие, взял светильник и поспешил в соседнюю келью, где ждали его омовение и трапеза.

В ОЖИДАНИИ

Гросмейстер отправился домой—подготовить Олеандру. Остальные шестеро храмовников пребывали в главной храмине, которую наскоро прибрали.

Цырюльники перевязали разбитое лицо Капеллана, и их отослали.

Капеллан возлежал на скамье, ослабевший, со слезящимися глазами, и потихоньку чертыхался.

Секретарь и Казначей стояли около него, понурые, потные, удрученные. Брат Розового сада стоял тут же и рассказывал легенды о духах и привидениях, являвшихся людям спустя много столетий со дня их смерти.

Возле двери в келью стояли, прислушиваясь, Хранитель плаща, Провиантмейстер и маленький Хранитель лестницы.

— Скоро ли он соскребет с себя грязь?—яростно пробурчал Капеллан.

— Тсс!—шикнул Хранитель лестницы, — он стукнул тарелкой.

— Стало быть, жрет,—выдохнул из себя Капеллан.

— Слава богу,—перевел дух Секретарь, потирая руки,—стало быть, не настоящее привидение.

Но Брат Розового сада рассказал о призраке в Трольборге, который съел три окорока и блюдо лососины с косточками и с блюдом вместе. Рассказ этот, за который в обычное время рассказчика поднимали бы насмех, произвел в данную минуту гнетущее впечатление.

Взоры храмовников блуждали вокруг, по стенам храмины, изукрашенным фресками. На фресках изображены были: „Йорген, проповедующий народу“, „Разбойники, застигнутые в тот миг, когда они складывают награбленное в подвалы знатных людей города“, „Брачная ночь Йоргена“, „Плащ на позорном столбе“ и „Бегство Йоргена“: святой бежит по улице, за ним гонятся солдаты с длинными пиками, собаки хватают его за ноги, птицы обдают своим пометом, старухи грозят ему кулаками из дверей и окон.

Казначей стал с негодованием порицать нерешительность Гросмейстера по отношению к пришельцу.

— Да что же было ему делать?—говорили другие.—Бросить его в тюрьму или выгнать из города!

— К этому ему не привыкать было бы стать,—пробурчал Капеллан, глядя на картину.—Но тогда люди были решительнее.

— Да, но тогда и он не был еще привидением!—сказали другие.

— Привидением! Хо!

— Да, да! Он, однако, исцелил калеку и завтра исцелит остальных!

— Господи, помилуй нас!—вздыхнул Казначей, думая о своих отчетах.—Что ему нужно от нас?

— Пожалуй, он прослышал о крупных суммах, собранных у нас в подвале, и захочет поселиться тут на всю свою жизнь?

— А как долго может еще прожить такой, как он?—задал вопрос Казначей, вздыхая и обливаясь потом.

— Где же Гросмейстер?—спросили другие.

— Дома; подготавливает Олеандру.

— Неужели она действительно должна войти к духу?

— Разумеется,—злорадно сказал Казначей,—ей ведь не терпелось стать невестой Йоргена.

— Ну, он ей ничего не сделает, конечно,—сказал Секретарь.

— Не говорите,—сказал Брат Розового сада.—Дух в Восборге в одну ночь оплодотворил ключницу, кастеляншу и трех скотиц. Слово сквозь машинку пропустил всех...

— Сам бог спас мою бедную Аврелию,—воскликнул Казначей в ужасе и глубоко перевел дух.

Подруги невесты в последний раз пропели хором брачный гимн и чинно уселись во всей своей чопорной пышности около Олеандры в подвенечном наряде. Роза и Тимофила были вместе с кормилицей Олеандры в священной роще на дебюте Давуса.

— Да что вы все такие унылые?—спросила Олеандра.—Ведь не в могилу меня провожаете. Мы будем видаться. Я буду сидеть в своей келье под окошечком и кивать вам, когда вы будете проходить мимо.

— Да, но ты так молода и прекрасна,—зарыдала Лилия,—и обречена на безбрачие, никогда не познаешь счастья любви.

— Вытри глаза, дитя мое,—сказала Олеандра.—Я могу обойтись без такого счастья, как сидеть на коленях у молодых людей и быть захватанной их лапами, зацелованной волосатыми, скверно-пахнущими мужскими губами... Это великое счастье и охотно уступаю вам. Не желаю я никого рядом с собой на моих простынях.

— Это ты теперь так говоришь,—рыдала Лилия,—а лет через двадцать...

— Через двадцать лет вы все будете ходить в перевалку, как домашние гусыни. А я буду сидеть в своем храме, холодная, важная и свободная. Мой супруг Йорген стоит там, литой из бронзы,—она указала на статую,—и, слава богу, никогда не обеспокоит меня своей навязчивостью или ночными

визитами. Он мертв, как камень... если вообще жил когда-нибудь,—расхохоталась она.

В эту минуту все бросились к окошкам. Что случилось? Что там такое? Из рощи доносились крики, громкие, ликующие, непрерывные крики... По Брачной аллее бежали люди и тоже кричали, как сумасшедшие, размахивали руками...—Дорогие мои, что там случилось?!

И вдруг зазвонили во все колокола: на башнях св. Йоргена, св. Катрины, св. Петра и св. Анны.

Прибежала опрометью кормилица, вся багровая, и прохрипела:—Св. Йорген вернулся! Св. Йорген вернулся!

Прибежали и Роза с Тимофилой и подтвердили, что св. Йорген вернулся.

Народ стекался на площадь перед дворцом Гросмейстера. Прогнали храмовых быков, проехали телеги с пивом, и в покое Олеандры появился сам Гросмейстер, сумрачный и подавленный, и подтвердил, что святой вернулся и ждет свою невесту.

Над Олеандрой словно удар молнии разразился. Она смерила отца с головы до пят.

— Я ли сошла с ума, или вы все вместе?

— Ты не хочешь?—спросил Гросмейстер, запынаясь.

— Ни за что!—возмущенно крикнула она и швырнула свой букет на пол.

— Но что же тогда? Что тогда?—заикался Гросмейстер.

В эту минуту к крыльцу подкатила брачная колесница; окруженная факелоносцами и музыкантами... Густая толпа, голова к голове, ожидала выхода невесты.

— Отец!—крикнула Роза,—я его видела, надень на меня венок и вуаль... Я посмею!

— Роза! Роза!—в ужасе завопили подруги.

— Пф! Небось, от этого не умирают!

— Ты останешься здесь,—сказала Олеандра; ее всю передернуло.

Быстро повернулась она, выдвинула ящичек своего рабочего столика, вынула роскошный кинжал с рукояткой слоновой кости и спрятала у себя на груди.

— Дайте мне мой букет,—повелительно бросила она.

— Ты все-таки хочешь?—спросил Гросмейстер.

— Да. Хочу видеть его.

— А, если... если... он св. Йорген?

— Я останусь с ним,—твердо проговорила она.

— А если он... обманщик?

— Тогда я, не долго думая...—сверкнула она зубами и указала на свой кинжал.

Вскоре по всему протяжению Брачной аллеи загремели приветственные клики. Это встречали Олеандру, ехавшую в храм.

Гросмейстер стоял на крыльце, с обнаженной головой, и глядел вслед дочери:

— Да что же... что же это такое, наконец?!

ПЛАНЫ СВ. ЙОРГЕНА

Св. Йорген поел, выпил, омылся, дал краткую аудиенцию господам храмовникам, потребовал от них все ключи и отправил их домой, а сам со связкой ключей стал обходить опустевший храм—в ожидании прибытия невесты.

Храм принадлежал ему. Он завоевал его... Только он не знал теперь хорошенько, что ему делать с этим завоеванием.

Пока не пройдут праздники и паломники не покинут города, он, конечно, сумеет продержаться здесь. Но осесть тут в храме прочно, в качестве зоо лет пропадавшего без вести святого, трудно-вато будет,—это он сознавал ясно.

Да и что в сущности было ему нужно еще? Он расправился с господами храмовниками, расквасил нос Капеллану, скомпрометировал храм и одуратил весь город.

Чего же ему еще?

В данную минуту храм в его власти. Остальное, то, что касалось будущего, было ему, откровенно говоря, безразлично, как пустыня песку и скуки.

Он взял фонарик и обошел весь храм—все храмины, кельи и углы.

Спустился в подвал, под своды... У! Что за холод, сырость и плесень! Ряды боченков и бочек с вином и медом. Пол весь покрыт застоявшимися лужами пролитых напитков.

А что это валяется? Старая, насквозь промокшая и пропахнувшая спиртом тряпица. Он поднес ее к фонарю. И едва поверил собственным глазам. Но ошибиться нельзя было. Вышивка... узор... Это был лоскут старого Йоргеновского плаща, полуистлевший лоскут, кончивший свое поприще в роли половой тряпки в винном погребе храма. Дрожь вислоухого ужаса пробежала по спине Микаэля от этой дерзости человеческой. Тысячи тысяч людей некогда преклоняли перед этой тряпичей колени, лобызали ее, совершали паломничество ради ее лицемерия, жертвовали свои жалкие, кровные гроши за право прикоснуться к ней... и вот!..

Он вступил в казнохранилище. Здесь сложены были груды серебряной утвари, принесенной в дар святому плащу: подсвечники, лампы, блюда, чаши и кубки—огромный, драгоценный клад. И два боченка золотых монет.

Это были капиталы св. Йоргена.

На целые мили кругом грабили и обманывали простой народ, поколение за поколением, грабили с самою хладнокровною наглостью. Пот народа, добрая вера простолюдина, его кроткое благочестие претворялись здесь в серебро и золото.

Через кладовую, где вдоль стен нагромождены были горы сыров, а под потолками висели рядами окорока, он прошел в оружейную. Старые, изогну-

тые, позеленевшие фанфары и рога, подобные тому, в который трубил Давус, рваные балдахины, траченные молью облачения господ храмовников, заплесневевшие плоенные воротнички...

С большим трудом открыл он старинный шкаф из камфарного дерева, замечательной работы... Так и есть! Там висело два новеньких Йоргеновских плаща, окропленных кровью и со всеми прочими знаками их подлинности, готовые к употреблению.

Едкая усмешка Коронного вора превратилась в злую гримасу, растянувшую его рот до ушей. Сердце у него застучало.

Он тяжело перевел дух и вошел в архив, в самую сердцевину храма, где должна была обитать душа храма. Там, конечно, хранились подлинные свидетельства о Йоргене, старые священные рукописи на пергаменте.

Он стал рыться в бумагах, но ему попадались только отчетные ведомости, залоговые свидетельства, заемные письма, купчие крепости, квитанции, карты, планы, счета за храмовые трапезы, еще купчие и еще долговые обязательства... все с приложением знаменитой печати храма, на которой отпечатались был плащ и семь крупных орлов.

Умные глаза Микаэля засверкали холодным, острым блеском. Боже мой! Так и надо было думать, так он порою и думал. Только странно как-то было удостовериться в этом—в том, что храм св. Йоргена был попросту центральным бюро крупного консор-

циума. И его внутренняя контора представляла нечто среднее между конторой помещика и конторой фактора.

И один из этих важных господ торгашей смел произвести его на свет, а затем вытолкать на все четыре стороны, в добычу нищете и презрению! Хорошо же, он нанесет им всем такой удар, от которого они не скоро оправятся.

Он поднялся на башню, где двое старых пьяниц-звонарей, чертыхаясь, дергали за веревки и посылали сквозь слуховые окна торжественный звон, создавая настроение в улицах и переулках и внутри домов.

Ночной воздух освежил его.

На площади весело пылали костры.

Ну, на этот раз это он вырвал народ из когтей семи крупных орлов...

Вдоль Брачной аллеи люди стояли стеной; всем хотелось видеть, как проедет в храм невеста, окруженная факелоносцами и подругами.

Сначала Микаэля раздражала эта комедия с невестой; она была ему некстати. Но затем она стала забавлять его, как лишняя комическая подробность программы, и, наконец, когда он узнал, что невестой была Олеандра, благородная дочь самого Гросмейстера, в нем заискрилось злорадство: „Пусть еще и эту полынь проглотят в чаше своего горького унижения! Господа храмовники обсемили

бедный род его простодушного деда,—стало быть, будет простою справедливостью, если он в воздаяние смешает свою кровь с кровью гордой дочери Гросмейстера—чтобы скрещение было полным.

На Йоргеновской площади зазвучала музыка—флейты и колокольчики, раздался гром приветственных кликов. Брачная колесница тронулась.

„Пусть явится,—думал Микаэль, сжимая кулаки,—пусть явится. Сегодня ночью, милый дед, твоя бедная кровь получит удовлетворение за весь позор и темные дни. Гей, гей, милый дед! Мы сегодня ночью сделаем Гросмейстера дедушкой! Ах, знал бы ты только, знал бы ты только об этом!“

Весело спустился он в храм, и бывает же такое странное стечение обстоятельств, что как раз в эту минуту из Брачного покоя выскользнул смиренный старичок, зажигавший там светильники иправлявший шелковое ложе для Олеандры и ее возвратившегося домой жениха. Это был старый Коркис.

Микаэль остановился в дверях, взволнованный, растроганный, и уже распростер было руки... чуть было не крикнул: — Дедушка, ты меня не узнал?

Но слова замерли у него на губах.

Старичок смиренно согнул спину перед высокочтимым святым. На минуту поднял свои невинные старые глаза, но в них так рябило от благоговения и смущения, что он так и не узнал своего

собственного внука Микаэля—в священном плаще, в образе владыки города и храма.

И он скрылся.

„Пусть уходит,—сурово подумал Микаэль.—При всей его душевной чистоте он все-таки лишь жалкий раб, созданный гнуть спину и поклоняться. А во мне кровь господ храмовников, я блудный сын Капитула, который сегодня ночью займет свое настоящее место—хотя бы и обманным путем и ценою своей смерти завтра, в искупление обмана“.

За рошей уже гремела музыка, когда задняя дверца отворилась и в храм шмыгнул Франц, вне себя от радости, но по-воровски осторожный. Он бросился обнимать Коронного вора, заливаясь беззвучным смехом, и заплясал с ним по празднично разубранной, освещенной храмине.

Франц имел огромный успех со своим исцелением. Всем хотелось подойти и пощупать его исцеленную ногу и угостить его, так что он был уже изрядно под хмельком.

Чудо бросилось ему в голову и заставило его возомнить о себе до того, что он потерял последний свой умишко.

— Пф! Я швырнул костыли, хлоп—и люди все попадали на колени!—повторял он без конца, заливаясь хвастливым смехом. Теперь, по его мнению, им нужно было сегодня же ночью вломиться в казнохранилище храма. Там должно быть девять бочек золота! Глаза Франца горели от жад-

ности. Четыре пусть берет себе Коронный вор, а пять пойдут ему, Францу!

Микаэля охватило отвращение к этому тупому, жадному плебею, прежде такому трусливому и покорному, как овца, а теперь нагло жадному, как свинья. Сам Микаэль стоял у цели своих горделивых грез, готов был схватить венец жизни, как вдруг из тины прошлого вынырнула эта тупая башка, которая не в силах представить себе ничего иного, кроме того, что вор должен крепко держаться за вора.

Он попытался образумить Франца. Невозможно. А брачный кортеж был уже в роше! Микаэль должен остаться здесь? Ладно, так и Франц останется. Храм столько же принадлежит ему, сколько Микаэлю... и плащ тоже!

В конце концов он преисполнился такой зависти, что сдернул с Микаэля плащ. Миг—и оба скатились на пол. Но Микаэль был более гибким и ловким. Он сдвинул пальцами глотку Франца, и Поджигателю пришлось сдаться.

— Но берегись ты, Коронный вор! Берегись завтра, если дорожишь жизнью. Я стану у тебя на дороге, куда бы ты ни пошел, ни поехал. Жизнь твоя в моих руках! Одумайся к завтраму. Я стану на твоей дороге. И стоит мне указать на тебя пальцем, как ты заболтаешься на виселице—хотя бы и мне пришлось повиснуть рядом!

Он скрылся.

Микаэль остался один, возмущенный, расстроенный.

„Делить победу с ним! С этим грубым бандитом! Быть кощунственно связанным с этим жадным зверем в самый великий час своей жизни! Нет, лучше уж рухнуть опять в бездну мрака завтра же. Когда сладость победы будет выпита до дна! В бездну мрака и смерти, которой так безумно боится Франц, но которая ему, Микаэлю, кажется такою близкою и желанною. Пусть Франц завтра выступит против него! Пусть—если посмеет“.

Флейты зазвучали совсем близко. В воздухе гремели раскаты восторженного ликования. Невеста вышла из колесницы и подымалась по лестнице под чудесное пение хора девушек.

Невестой была самая гордая из благородных девиц его родного города. Подругами невесты были дочери знатнейших граждан города. Флейты пели, колокола звонили, факелы пылали, и паломники ликовали.

Это был его триумф после жизни, полной горечи и всякой мерзости. Это был час удовлетворения, час такой славы и такого блеска, о каких Микаэлю никогда и не снилось.

НЕВЕСТА СВ. ЙОРГЕНА

Подруги невесты стояли в храмине, окружая Олеандру, и пели хором:

С любовью в груди,
невеста, гряди,
завесив лик свой
фатой кружевной,
в уборе богатом,
в час тихий заката!..
На каждой былинке
алмазы-росинки;
кукуют кукушки
на леса опушке... и т. д.

Йорген вышел из своей кельи и остановился в дверях, скрестив руки, слушая с улыбкой.

Но мысль его усиленно работала.

Первый же взгляд свой он метнул на Олеандру. Боже великий! Он ожидал увидеть краснеющую, готовую упасть от волнения и сдаться юную невесту. А перед ним стояла умная и уверенная в себе молодая девушка, бледная, решительная, в уборе невесты, но с парой умных, пытливых глаз, которые зорко и спокойно наблюдали каждую черточку его улыбки.

Он мгновенно перевел свои улыбающиеся глаза опять на юных, смущенных девиц; те продолжали петь и лишь украдкой поглядывали на него из-за голов друг друга или из-за нотных листов, но, встретив его пристальный взгляд, тотчас же, краснея, отводили глаза или опускали их опять на ноты.

Зато взор Олеандры, твердый, гордый, испытующий, не отрывался от его лица. В ее глазах светилось сомнение, спокойное, холодное сомнение,—

единственное, чего он страшился. И надо же было ему натолкнуться на такое сомнение как раз, когда он достиг уже вершины успеха, встретить это сомнение в лице самой невесты!..

Пение смолкло.

— Bravo! Bravo!—воскликнул святой и попросил девиц повторить последнюю строфу. Сердце его блаженно расширилось в груди под лучами всех этих девичьих глаз, голубых, карих, черных и синих. Это для него пели дочери самих господ храмовников. Это перед ним краснели, по его желанию повторяли песню знатнейшие девицы города. И по окончании пения он приветливо обошел их и обласкал: благодарил, трепал дочерей господ храмовников по щечкам, брал за подбородки, спрашивал, как их зовут, повторял их знатные родовые имена, которые годами жгли его память, вызывали у него скрежет зубовный...

— Чудесно! Чудесно, милые дети! Благодарю, всех благодарю!—И он проводил их до дверей, по-прежнему чувствуя на себе упорный взгляд двух недоверчивых серых глаз.

Дверь захлопнулась, храм закрыли, Микаэль и Олеандра остались одни... И Микаэль уже обдумал план действий. Он прошел к себе в келью, мимо выжидавшей, настороженной Олеандры... затем вернулся в длинном белом праздничном одеянии храмовников, спокойный, непроницаемый, и с княже-

ской осанкой склонился перед своей знатной невестой.

— Ваша святейшая милость!

Олеандра вспыхнула, впервые услышав свой новый титул, и в первый раз опустила глаза перед этой почти блазированной почтительностью, столь непохожую на отеческое любезничание Йоргена с ее подругами.

— Ваша святейшая милость!.. Моему странствию в оболочке праха скоро конец... к счастью!..

Она быстро взглянула на него, на этот раз с удивлением. Что он—святой или обманщик? Все его существо было словно окутано странным непроницаемым туманом. Таких она еще никогда не встречала.

— Ваша милость! Жестокую несправедливость потерпел я некогда на этой самой горе...

(Но... стало быть, это сам Йор...?)

— И если я вновь, невзирая ни на что, посетил свой родной город, то лишь ради восстановления чести моей и моего рода—прежде чем завершен будет путь мой...

(Что это... он грозит?.. Олеандра не видела ни проблеска света в темной, бездонной загадочности этого существа. Сердце ее шибко стучало).

— Честь эта будет восстановлена тем, что семя мое останется жить после меня в чести и славе, внедренное в самую знатную здесь породу. Вот зачем я вызвал вас сюда сегодня вечером. Ваша

милость должна стать матерью нового рода, который пойдет от меня, и тем дать мне полное удовлетворение, чтобы я спокойно мог отойти из этого мира, зная, что поругание мое искуплено и в семени моем восстановлена моя честь.

Девственную душу Олеандры словно пронзили ледяные клинки. Бледная, как смерть, глядела она, не отрываясь, безгласная, растерянная, в эти твердые глаза. Не было ни малейшего сомнения в глубокой правде его слов, хотя они бичевали ее, словно удары кнута. Она стояла лицом к лицу с самим, некогда столь жестоко поруганным Иоргеном.

— Ваша святейшая милость поняла мои слова?

— Да,—хрипло прошептала она. Колени у нее подгибались, вся ее самоуверенность и твердость как-то растаяли.

— И ваша святейшая милость готова возвеличить мое семя и стать матерью рода, который пойдет от меня?

Ее губы беззвучно зашевелились.

Он продолжал глядеть на нее в упор.

— Да,—прошептала она, поддаваясь странному смешанному чувству—какой-то торжественности и слабости.. Обратившись к ней с этими словами, он как будто уже овладел ею, стер всякую интимную грань между ними.

Глаза ее закрылись, голова поникла...

Микаэль тихо подхватил ее с новым чувством бережной нежности к этой гордой душе, не

выдержавшей борьбы и готовой отдаться ему. Целуя ее, он шепнул ей на ухо:—Олеандра, кровь твоя вольется в род мой. Твой образ возродится в моих потомках. Дай им смотреть на свет твоими умными глазами, дай им быть сильными твоим сильным духом!

Она лежала в его объятиях и вдруг прижалась к нему так крепко, что сама испугалась, и, чтобы заглушить свой страх, стала прижиматься еще крепче... крепче... и все еще недостаточно крепко—в то время как он на руках уносил ее в Брачный покой.

УТРО СВ. ЙОРГЕНА

Весело светило утреннее солнце в Брачный покой, играя на фресках сводов.

Коронный вор проснулся.

Приподнялся и долго созерцал спящую Олеандру, спокойно и ровно дыша широкой грудью с красною татуировкой над самую подложечкой. Рисунок изображал восходящее солнце. Это была память дней его веселой, вольной жизни в молодости, в кругу фигляров и акробатов. Маленькая китаянка осторожно выпарапала на его теле этот рисунок своими острыми инструментами.

Теперь китаянка была забыта, забыта была и маленькая истеричная Пармская принцесса. Он сидел, склонясь над спящей храмовой невестой—такой свежей, здоровой, гордой и в то же время доверчивой и нежной.

Увы! Он был пойман... стал беспомощным пленником, потерял свою прежнюю свободу. Вот, чего он никогда не думал.

Вся его страстная тоска, все его помыслы, каждое биение его пульса, каждое чувство и представление—все было приковано, устремлено к ней, к спавшей подле него, тянулось и взывало к ней со всею жадностью и жадной радости жизни, со всею мощью здоровых сил.

В его бесплодной, дикой бродяжьей натуре пробудилось что-то новое, забил горячий ключ тропической, всепоглощающей нежности к ней одной.

Все прошлое, пережитое стало таким ненужным, а все настоящее приобрело новый, яркий смысл.

Мысли о мести, прежде грозившие взорвать его душу своим слепым, буйным напором, вдруг стали такими вялыми, неинтересными, холодными.

Душевная усталость, разочарование, которыми было прежде пропитано все его существо, казались ему сегодня совершенно непонятными, нелепыми... он стряхнул их с себя, как сухую листву.

Новая могучая теплота разливалась по его жилам в то время, как он впивал взглядом сладкое очарование этого образа. Каким пленительным умом, каким здоровьем дышало все ее существо, с какою трогательною доверчивостью отдала она ему себя и всю свою прелесть...

В течение всей своей жизни он тратил свою телесную силу и душевный жар в кругу жалких

безличных существ, в холодной житейской обстановке, которые жадно высасывали из него жизненное тепло. Никогда раньше не возвращалось ему отданное им тепло, потраченный им ум—с такою нежностью, с такою щедростью... Лишь теперь, впервые, от нее, так доверчиво, прекрасно раскинувшейся в сладком сне, рядом с ним.

И Олеандра проснулась. Вернее: слегка открыла глаза, скользнув из сладких грез сна в сладкие грезы яви, и пристыла взглядом к его лицу, впивая в себя его образ, его нежность, его мужество и сильный ум...

Ни одна мысль не шевельнулась в ней. Она только смотрела и улыбалась, счастливая, полная нежного доверия, смотрела на него, сидевшего над нею—с таким забавным, при полном дневном свете, ярко-красным солнцем на могучей груди, над самой подложечкой. Как она ласкала и целовала это красное солнышко ночью, при свете восковых свечей, как улыбалась ему и любовалась им, когда возбужденные страстью артерии заставляли трепетать и биться это красное солнце... до тех пор, пока не погас последний восковой огарок...

Она лежала, он сидел. Доверчиво, спокойно погружали они взгляды в глаза друг другу,—ни мысли ни о чем, ни слов... И вдруг, так же безмолвно, сблизились и слились в общем порыве страсти... И опять, подобно двум сестрам-розам, расцветшим на одном стебле, повернутым друг

к другу венчиками и колеблемым летним ветерком, глядели в глаза друг другу, смешивая свое прерывистое дыхание, отдыхая после общего порыва страсти.

— Йорген,—прошептала, наконец, Олеандра.

— Да?

— Йорген,—повторила она, смущаясь.

— Ну, что же?

— Мне надо сказать тебе что-то.

— Говори же, глупенькая.

— Ты не рассердишься, Йорген?

— Обещаю.

— Мне стыдно признаться в этом.

— Тебе—стыдно? Тебе!

— Но я должна признаться.

— Так говори.

— Йорген...

— Ну?

— Я думала вчера, что ты обманщик.

Микаэль вздрогнул. Она не поняла и с мольбой прижалась к нему.— Не сердись, Йорген. Слышишь! Не сердись! Я не могла не признаться тебе в этом.

— Но как же ты могла сомневаться?—спросил он наконец.

— Да это потому, что вчера я слушалась того, что называется разумом.

— А куда же он теперь девался?

— Не знаю, да и не все ли мне равно?

Ее серые глаза, вчера такие испытующие, холодные, сняли сегодня небесным светом веры и сердечной теплоты.

В ту же минуту над самой головой у них зазвонили колокола храма, раскачиваемые с такою силою, что слышен был треск балок, на которых они висели.

Коронный вор вскочил, как вспугнутый олень.

Слова Олеандры поколебали его розовые мечты. Звон колоколов разбил их вдребезги. Этот звон предвещал наступление мрака, мрака, нового мрака, который окутает его недавно вспыхнувшую нежность и недавно зажегшееся счастье: этот звон вызывал призраки лжи, обмана, предательства, виселицы, петли, мошеннических проделок, ненависти, мести, злорадного упорства и бегства—на смену самым нежным грезам. Это было столь резкое пробуждение, что он горько раскаялся в своем коротком счастье.

— Невеста храма! Спасибо за ночь!—крикнул он, поцеловал Олеандру и прыгнул с теплого ложа.

— Йорген!—испуганно воскликнула она, села в постели и впиалась в него взглядом, как бы пронизывавшим его до самого мозга костей.—Ты уже уходишь?

— Как долго я останусь, я еще не могу сказать тебе.

— Куда бы ты ни пошел, я за тобой!—воскликнула она с бьющимся сердцем.

— Тебе это не по силам,—сказал он с гримасой.

— С этих пор мне по силам одно: быть с тобой!—ответила она.

Буря пронеслась в душе Микаэля. Голова кружилась от такого безграничного доверия.

Он зорко, пытливо взглянул на нее. Воспользоваться этою беззаветной преданностью, не отвечая ей тем же, он не хотел. Но, может быть, она в силах снести его полную откровенность?.. Может быть, довериться ей?..

И он смотрел на нее, смотрел, а она смотрела на него под аккомпанемент колокольного звона и напряженное биение пульса в их крепко сплетенных руках.

Но затем дух насмешки и глумления одержал в нем верх. Нет, где же ей снести это, этой гротескной дочке! Она ведь любит Йоргена и преклоняется перед святым, а не перед жалким скоморохом.

И словно жгучим, освежающим дыханием мороза обвеяли ему душу до мельчайших ее изгибов его старая строптивая бесшабашность и его отчаянное презрение к смерти, наполнив его привычным чувством спокойствия, почти благополучия.

Колокола звонили: „Месть! Месть!“ Йоргенstad просыпался для нового дня—быть может, последнего в жизни Микаэля. Первые паломники уже стекались в рошу, чтобы обеспечить себе хорошее местечко, откуда видно будет, как святой поедет в своей колеснице! А вот идут и первые господа храмовники, чтобы приготовить все для процессии Искупления.

Прочь раскаяние и сентиментальность! Всякое нытье и хныканье о прошлом. Он гордился тем, что был Коронным вором, мошенником, забравшимся в сердце храма! Гордился тем, что покорил себе знатнейшую девицу в городе, как гордится охотник, затравивший благородную дичь.

Быстро и весело накинул он на себя плащ Йоргена. Смело вперед, во главе триумфальной процессии, при полном дневном свете—чем бы это ни кончилось!

— Можно мне с тобой, Йорген?—спросила Олеандра, бледная, застывшая.

Он быстро обернулся к ней в приливе более легкой и дерзкой влюбленности.

— Куда хочешь и пока хочешь, моя несказанно прекрасная!

Лицо ее просветлело, засияло непоколебимою нежностью и уверенностью. Она спрятала его на груди Йоргена. Затем откинула плащ с загорелой груди и поцеловала красное солнце.

ФРАНЦ

Франц всю ту ночь продежурил у храма. Он по-свиному днем предпочитал прятаться, а ночью бодрствовал и метался.

Коронный вор хотел надуть его. Франц был совершенно уверен в этом. Ссылка на то, что он ждет невесту,—просто жалкая уловка. Мало ли девок на свете? А уж если на то пошло—то Франц не малолеток. В какие-нибудь 15—20 минут Коронный вор мог обработать любую девушку. И успокоить свою кровь... А затем приняться за дело!..

Разумеется. Пока Йоргенстад спит, одна из боковых дверей храма откроется и выпустит Коронного вора с сокровищами храма... Крадучись, нырнет он в густой туман ночи, чтобы отнести свои богатства в укромное местечко...

Но тут-то и попадется впросак: Франц будет стоять на карауле! Выступит вперед и крикнет:

— Стой, приятель! Нас тут двое!

Ночь, однако, проходила, а Коронный вор не показывался. Час за часом уходило драгоценное, благоприятное ночное время, а Франц, голодный, оборванный, издрогший, все шнырял вокруг храма, скрипя зубами от злости на своего увертливого товарища, на этого вероломного, облизанного комедианта. Пожалуй, он и впрямь заснул! А то ведь бессмысленно же было по доброй воле дать себя

застигнуть в храме среди бела дня. Дерзок то он дерзок, но до такой степени?!

Но вот и утро. Зашевелились храмовые прислужники и выкатили во двор храмовую колесницу. Показались и господа храмовники, чтобы подготовить процессию Искупления. На площадку перед храмом начали стекаться первые паломники, чтобы заручиться хорошим местечком, откуда виднее будет выезд святого из храма...

Франц лихорадочно тарашил глаза на окна Брачного покоя...

В окне показались две головы: Коронный вор с невестой!

Каково хладнокровие! Какова дерзость!..

Франца прошиб пот. Так он осмеливается?! Взаправду осмеливается! Не в шутку! Не боится дневного света! Он, мошенник!.. Не лучше Франца... Не честнее... Он пробрался в мир честных людей!..

Франц так распалился, что... что... что судорожно шевелил пальцами, шевелил губами и дергался всем телом в тщетных потугах понять—как же это Микаэль смеет, на что надеется... в попытках разгадать загадку до конца, осмыслить бессмыслицу, но это было выше его сил! Выше его жалкой, куцой сообразительности! И он отказался от попыток и стоял, разинув рот.

Но зато в голову ему ударила слепая животная злоба, ярость против товарища, изменившего ему после того, как с его помощью сделал прыжок

ввысь, в другой мир, в мир людей, более тонких и важных, где не было места ему, Францу. Коронный вор очутился наверху и знать больше не хотел Франца... оставлял его там, внизу, на дне... и думал, что Франц помирится с этим!.. Франц, знавший его тайну... державший в своих руках его жизнь... Но погоди же! Погоди! Узнаешь ты Франца!..

И Франц кинулся к храмовым служкам.—Это колесница?..—Да, это храмовая колесница.—Он в ней поедет?—Ну, да, святой Йорген поедет в ней.—Куда?—К источнику.—По какой дороге?—Этого они не знают.—По Брачной аллее?—Неизвестно.—По Храмовому переулку?—Неизвестно.—Но к источнику?—Да, разумеется; но сначала на площадь.—На Йоргеновскую площадь?—Да, там отпрягут коней.

Ладно. На площадь, так на площадь! Франц отправился туда. Там он встретит приятеля и потребует к ответу. Согласен, дескать, или нет? Да или нет? Небось, смиритса, молодчик! Бродяга! Плут! Комедиант!

На углу площади и Разбойничьего переулка Франц вскарабкался на телегу какого-то паломника. Процессия должна проследовать мимо. Народ уже сбегался.

Йорген! Йорген! Йорген! Это имя было на устах у всех. Люди просто с ума сходили с этим Йоргеном.

Клодина с матерью прибежали, запыхавшиеся, взывая:—Отец! Отец!.. Где же отец?

Из погребка „Праведный паломник“ послышался грузный топот ног, и оттуда выволокли землевладельца, полураздетого, мертвецки пьяного, но что-то еще бормочущего и с колодой карт в руках. Служанки выбросили вслед ему его сапоги.

Жена всхлипывала, Клодина голосила. Паломники хохотали.

— Дурак! Дал ободрать себя, как липку! В этом мире надо глядеть в оба!

Да, Франц не даст себя ободрать! Его не вышвырнут, как падаль, на дорогу! Вот он стоит тут, крепко стоит! Пускай Коронный вор померяется с ним силами! Будет обшипан! Франц повыдергает у него из хвоста чужие перья!

Чу! Едет! Все вытянули шеи. Франц едва верил своим глазам и ушам. Этот гром приветствий! Эти тысячи бесноватых паломников!..

Его охватило жуткое предчувствие. Не поздно ли? Неужели этот тонкий мошенник и комедиант успел за это время забрать такую власть и околдовать весь город?

Вот процессия уже проходит по переулку Капитула. Вот вступила в Розовый переулок. Вот завернула в переулок Храмовников, и сквозь отдавленные раскаты приветственных кликов явственно пробиваются звуки фанфар.

Все бесы зависти и ненависти разом завертелись и заметались в порыве дикой, бессильной злобы в голове Франца. Глаза его грозили, челюсти жевали, голова втянулась в плечи, затем разом вытянулась:

— Я его опрокину... свалю... хотя бы и самому потом... хотя бы и самому потом...

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА

Это был день неслыханного доселе в городе ликования, невиданного в мире безумного восторга.

Растворились большие кроваво-красные, с драконами, врата храмового двора. Парно вышли оттуда, с балдахином Гросмейстера во главе, и двинулись мерным шагом, под звуки скорбного марша, все храмовники—во вретиче, с посыпанными пеплом главами. А за ними на высокой золоченой, запряженной четырьмя священными белыми быками, храмовой колеснице—сам св. Йорген со своей невестой, озаренные ослепительными лучами утреннего солнца, двинулись сквозь толпы народные, сквозь тесноту и давку напряженно ожидающих, глазющих, кричащих тысяч людей.

Впереди всех тесно жались друг к другу миссионеры. Был тут и Лёнборг из Форбю, мастер говорить, давась рыданиями; и Туре Туресен, умевший, поджав губы, преподносить самые горькие

пилюли; и Петер Томмельман, сын торговки яблоками из Туттенстрёта, способный впадать в экстаз и зреть небо отверзтым; и кроткий старый Сневе, умевший так спутать все понятия, что люди переставали различать—где север, где юг; и Гудмунд Херренсфред, на которого был особый спрос и который брал большие гонорары, так как славился своим искусством задевать личности и говорить колкости чисто библейским языком; и Топман, слышавший другом истины; и Петр Мурлыка, как его прозвали, носивший волосы на косой пробор, тщательно завязывавший свой галстук, а потому слышавший олицетворением добродушия.

Привычка соблюдать свое достоинство отучила их галдеть и таращить глаза. Но и у них сегодня глаза лезли на лоб от благоговейного ужаса, в ожидании лицезреть того, чьего пришествия они ожидали с такой верой, с такой верой—именно потому, что в глубине души уверены были, что он никогда не придет. И вдруг он все-таки пришел! Вон он сидит на колеснице, живой во плоти и крови!.. Щеки их были мертвенно бледны, губы шевелились, язык лепетал молитвы, почтенные бороды тряслись, руки инстинктивно искали какой-нибудь опоры.

А паломники прямо не щадили себя. Кричали и орали до иступления, приветствуя св. Йоргена и его знатную невесту, золоченую колесницу, быков, господ храмовников и опять св. Йоргена и священный, чудесный, чудотворный, обрызганный

кровью шелковый плащ на его плечах, Йоргеновский плащ, отливавший на солнце то синим, то зеленым.

Из храмовой рощи процессия прошла через Капитульную площадь с позорным столбом. Площадь тоже была битком набита народом. Новые безумные крики восторга, махание руками и шляпами. И там, далеко впереди, между домами и крышами подымался громовой рокот тысяч затаивших дыхание, напряженно ждущих людей, медленно раступавшихся перед торжественной процессией.

— Подайся! Подайся!—кричали кроваво-красные герольды и скороходы.—Дорогу святому Йоргену! Дорогу храмовой невесте, дорогу священному Капитулу! Дорогу священным быкам!

Балдахин Гросмейстера колыхался над морем людским по Капитульному переулку. Медленно, однообразно шествовали господа храмовники, во вретисе, с посыпанными пеплом главами, распевая тягучий старый покаянный псалом:

Святого смели мы изгнать,
Нас жжет теперь стыда печать;
Идем к источнику толпой,
Чтоб смыть свой грех водой святой!.

Все двенадцать стихов псалма старые паломники знали наизусть и обыкновенно тихонько подпевали хору. Но сегодня никто внимания не обращал на пение Капитула, никто не слушал музыки. Все головы повертывались в одну сторону, все глаза глядели в одном направлении—на колесницу, на хра-

мовую колесницу, которая, сияя своими золотыми завитушками, пробиралась сквозь толпы народные.

И на колеснице, высоко над всем этим морем благочестия и восторгов, восседал, рядом с Оландрой, увенчанной миртами, Коронный вор, этот продувной плут, с улыбкой кивая на все стороны. Все его нервы до последнего трепетали от напряженно-настороженного внимания, а сердце смеялось и прыгало от прилива самой плутовской, насмешливой радости.

На колеснице, сзади, положены были и два боченка с золотом; Коронный вор захватил их на всякий случай, хотя опасности и не предвиделось—пока. Плащ, священный плащ на его плечах служил ему щитом, и знатнейшая девица города сидела рядом с ним своего рода заложницей; все ведь знали, что он провел с нею ночь. Могушественнейшие господа и владыки города, присмирившие, понурые, притислись перед его колесницей, и религиозный восторг, самая могучая и благороднейшая сила человечества, ограждая его как бы ангельским воинством, вставал вокруг него такой стеной ликования, слез и грез, что он почти задохнулся.

Этот гул приветствий был так оглушителен, так продолжителен и раскатист, что прямо кружил и туманил ему голову и ум. Как-будто все яркие краски и блестящие звуки пылких земных восторгов и блаженства устремлялись к нему, как к фокусу; большинство смертных смиренно создало бы себя

недостойными, отмахнулось бы, зажало себе уши, закрыло глаза с криком: — Стойте! Стойте! Это слишком! Я недостойн всего этого!

Но Коронный вор был старый фигляр. Привык держаться на сцене, как любой пастор или епископ. И только шурился и нежился в лучах своего торжества, как кот на солнце. Он знал, что во всем этом реве толпы не было ни одной правдивой, сознательной ноты и что штабель рассыпавшихся досок мог бы наделать такого же грохота, но знал также, что для него лично этот религиозный восторг очень выгоден и успокоителен.

Напротив, Олеандра была взволнована, растрогана. Грудь ее дышала усиленно и неровно, дрожащие, влажные руки цеплялись за Иоргена. Каждый из этой простодушной и невежественной толпы в отдельности не представлял в ее глазах ровно ничего. Но тут ведь был не один такой тупоголовый простак, а тысячи и тысячи, целое море, и не где-нибудь вдаль или глубоко внизу, а вот тут, рядом, вокруг, живые, настоящие. Такой тысячеголосый гул и рокот, такая масса простаков, такое множество орущих глоток захватили ее, подавили, убедили. Она ехала в чадущее блаженства. Это был величайший час в ее жизни.

И все краски сбежали с ее лица от волнения, когда в смыкавшихся за колесницей волнах народных сначала забурили какие-то водовороты, произо-

шла какая-то заминка, а затем грянул в блаженном экстазе тысячеголосый хор:

Свой народ посетил святой Иорген,
И всем бедствиям нашим конец...

Словно по мановению волшебного жезла, безумие-ликования переродилось в ощущение неземного величия и вечной истины. Как будто какая-то захватывающая загадочная сила, чувство, которого не может вместить отдельное маленькое сердце человеческое, спустилось с горных высот, от источника вечных сил и очистило, одухотворило улицы Йоргенстада, наполнило их чувствами, которые жили уже не в отдельных сердцах, но как бы самостоятельно возносились с тысяч уст к небесам, становились мольбами, рыданиями, слезами, трепетом, бурными восторженными раскатами песнопения, охватывавшими всю гору.

Олеандра закусила губу и заплакала. Крупные слезы катились по ее щекам. Никогда не грезилось ей, что она доживет до такого блаженства. Она смиренно чувствовала себя такой маленькой и в то же время испытывала какое-то облегчение от того, что можно было не думать, а только чувствовать, только отдаваться настроению и плакать, плакать, плакать всенародно, не стыдясь своих слез, не возбуждая ими внимания, не изумляя никого, плакать так, как будто душа праздника сливалась в ее слезах с самою вечностью... Да, в этих мгновениях были проблески самой вечности!..

Но Коронный вор сидел, выпрямясь.—Господи помилуй!—насмешливо цедил он сквозь зубы, поневоле мирясь со всем этим шумом и гамом, так как другого выхода не было.

Процессия достигла середины Капитульного переулка у заворота ко дворцу Секретаря. На крыше „Башни“ собралась за столом, уставленным яствами и питьями, важная компания пресыщенных, скупающих кавалеров и дам.

Давка была такая, что толпа прорвала процессию и отделила Капитул от брачной колесницы. Крики и вопли скрещивались. Балдахин колыхался, словно его трепала буря. Быки закинулись и ревели со страху. В одну минуту их выпрягли, и обезумевшая толпа старух, горбунов и калек впряглась в колесницу и повлекла ее. Экстаз придавал этим жалким телам исполинские силы.

Пир на крыше „Башни“ был прерван; кубки опрокинулись и покатались. Кавалеры и дамы, перевесившись через балюстраду, впились глазами в процессию. Насмешливые улыбки сбежали с их физиономий, и из-под маски пресыщенности и скуки выступило истинное лицо каждого—лицо человека толпы.

Пока „Йорген“ был лишь теоретической проблемой, они преспокойно отрицали его существование, как чудовищную аномальность. Теперь, когда он самолично, приветствуемый тысячами, ехал по улицам,—в сокровенной глубине их существа

распахнулись таинственные врата религиозности, обезьянья натура выскочила из клетки и завладела душой, жалкий культурный разум поспешил с перепугу спрятаться, и их обуюл демон воплей.

Бледный, как смерть, простирая руки, спустился с главного крыльца молодой вольнодумец Герман и упал на колени, в пыль, приветствуя святого.

— Историческая минута,—сказала Тимофила, заливаясь слезами.

Процессия завернула в Розовый переулок, родной переулок Коронного вора, которого он не видел с тех пор, как был изгнан из города подростком. Он поклялся вернуться сюда победителем и вот теперь совершал свой въезд с триумфом, превзошедшим всякие мечты. Его славили и воспевали; осыпали зеленью и цветами с балконов и крыш.

Он предпочел бы свернуть через ворота Милости в Боковую улицу, тоже выводившую на дорогу Храмовников. Опасность быть узанным грозила ему здесь всего сильнее. Но нет. Процессия двигалась своею обыкновенною дорогою, мимо дорогих старых, столь знакомых ему порогов и окошек. Вон стоит старая Лотта с выпяченной губой, с седой прядью, свисшею на правый глаз, и плачет „в голос“, бросая святому пригоршнями гвоздики из своего синего клетчатого передника. Вон и одноногий токарь, ожиревший, почтительно умиленный, в кругу своих домочадцев—смирненных, согбенных и угодливых молодых людей и женщин. А вон...

Сердце Коронного вора забилося горячо, судорожно... Вон на самом завороте Розового переулка садик с розами, обнесенный белым палисадом, большой куст фуксий в углу и домик, обвитый диким виноградом, его родной дом... Место, где отдыхали его мечты и мысли от пестрой сумятицы бытия. Там ли они? Стоят и смотрят уже? Старый трясущийся старик идет по садику... Его ведет седая женщина... Это они. Он и она. Дед и мать. Коронный вор глядел прямо перед собой. Узнают они его? Ужаснутся? Опустят руки? Без слов воззрятся на знакомое лицо и прочувствуют весь скандал?.. Коронный вор кланялся на все стороны, улыбался, сиял, не переставая всем своим внутренним „я“ зорко и незаметно следить за теми двумя. Вот они протянули руки... и—о, как это гадко, печально, отвратительно!.. Старик опустил на колени. Его старый дед, единственный, благороднейший, умнейший из всех, кого он знал...

— Сподобился-таки и я, грешный, узреть его! Самого святого Йоргена!—плакал старик.—Узреть чудо на земле! Не даром, стало быть, прожил на свете.

Никто не слышал его слов, кроме Урсулы, его дочери и матери Микаэля. Она рыдала так, что плечи ее вздрагивали, и она, тоже на коленях, простирая руки к нему, к святому, торжественно проезжавшему по их бедному переулку, как некое откровение свыше, живое свидетельство того, что

благородство, величие, святость еще не исчезли с земли.

Коронный вор успокоился. „Сойдет! Сойдет!“—кричал ему внутренний голос. Даже мать не узнала собственного сына. Так густа была религиозная пелена, лежавшая у всех на глазах.

Но тотчас же в нем поднялась вся желчь и горечь жизни. Он почувствовал себя, как муха в клейстере, как-будто все это восторженное, бурлящее море человеческого было бочкой с клейстером, из которого ему не выбраться было.

Процессия свернула на дорогу Храмовников.

Волны ликования вздымались все выше. Там впереди, где высилась на площади статуя святого ждало его новое море кричащих, кивающих голов. По всему склону, от самой площади до Источника Йоргена и лужайки—стояли густые толпы. А там, за ними, на холме маячила виселица.

Около самой статуи стояла телега, облепленная паломниками; выше всех взобрался Франц и сторожил приближение процессии, распаленный яростью...

Нос у Коронного вора как-то заострился и пожелтел, словно клюв хищной птицы.

„Ну-ка, ну-ка, милый Франц!—думал он.—Если затея твоя сорвется, я полюбуюсь, как вытянется твоя физиономия. А если удастся—полюбуюсь, какие рожи скорчат все прочие. Каково-то будет этим идиотам узнать—кого они катали на

храмовой колеснице! Горька им покажется эта пилюля, но поделом им. И я от всего сердца желаю, чтобы им эту пилюлю преподнесли—хотя бы они потом разорвали меня самого в клочья... Ну-ка, ну-ка, милый Франц!"

КЛЮВ ПРОТИВ КЛЮВА

С налитыми яростью глазами, всклоченный стоял Франц на телеге, вытянувшись и перегнувшись вперед... И вдруг, потрясая кулаком в воздухе, необузданно заревел:

— Ну? Сдаешься? Сдаешься? А? Сдаешься, Коронный вор!

Но голос его утонул в могучем разливе народного хора:

Свой народ посетил святой Йорген!..

И выше всех сидевший, вылощенный, улыбающийся Коронный вор послал быстрый, как молния, насмешливый взгляд своему разжалованному приятелю.

Но отчаяние придало голосу Франца силу трубного звука в день судный.

— Коронный вор!—заревел он с искаженным лицом, с ненавистью тыча кулаком по направлению к св. Йоргену.

Громовые голоса и грубые эффекты покоряют толпу. Возглас привлек внимание, вызвал изумление, и среди разлива пеня образовался все растущий островок изумленного молчания и смущенных

вскриков:—Коронный вор? Коронный вор?—Все больше и больше ртов с переимчивостью обезьян или попугаев повторяли эти слова:—Коронный вор? Коронный вор?

Хоровое пение с дурацкой настойчивостью продолжало разливаться по Розовому переулку, по дороге Храмовников, Брачной аллее и Разбойничьему переулку, до самого обрыва над источником; но на площади, вокруг этих двух, водворилась странная, полная замешательства тишина.

И, как двое канатных плясунов, стоящих друг против друга на тонкой проволоке, с блестящими клинками в руках,—пустое пространство вокруг, бездна уничтожения внизу,—обменялись новым взглядом Микаэль и Франц.

И вдруг народ увидел, что св. Йорген, решительно встав с сидения колесницы, остановил процессию мановением руки и, приставив ладонь к уху, обернулся в сторону дико рычащего человека на телеге с ласковым вопросом:—Что надо этому человеку?

Вся площадь замерла. Все вытянули шеи и воззрились на Франца, а он, не в силах снести столь внезапного своего превращения в центр всеобщего внимания, бестолково отрубил:—Я спрашиваю, где Коронный вор?

— Коронный вор!—воскликнул св. Йорген и с быстротой молнии обернулся к воззрившимся на

него храмовникам:—Разве этого плута еще не поймали?

Франц смекнул уловку и до смерти перепугался, как бы Коронный вор не выскользнул у него из рук.

— Я спрашиваю,—загремел он с новой силой,—где Коронный вор?

— Да, где он?—с живостью подхватил Тобиас.

— Так я вам скажу!—орал Франц.—Сказать? Скажу!

— Говори же, наконец, если знаешь!—крикнул св. Йорген с явной досадой.

— Вот он!—закричал Франц, с хохотом указывая на обложенного в плащ св. Йоргена. Трепет ужаса и сомнения пронизал сердце Олеандры и всего Капитула.

Но св. Йорген с тою же молниеносной быстротой обратился к Гросмейстеру и, указывая на него пальцем, крикнул во всю силу своих легких с уничтожающей насмешкой:—Ага! Господин Гросмейстер! Это я вас должен благодарить за такую сценку?

Олеандра вздохнула с облегчением. Гросмейстер был так ошеломлен, что чуть не опрокинулся навзничь, а св. Йорген продолжал кричать на него:—Господин Гросмейстер! Я на вас возлагаю ответственность за эту сцену. Но берегитесь, говорю вам. В последний раз вы меня изгнали из города камнями. Вчера хотели бросить меня

в тюрьму, а сегодня вы меня шельмуете. Когда же ваш горячий мозг успокоится?

И вдруг вонзил пронзительный взор в оторпевшего Франца:—Боже великий! Что я вижу!—И он оглядывал его со страстной настороженностью охотничьей собаки.—Стража! Схватить этого человека! Да крепче держите его, чтобы не убежал! Живо!

— Пустите меня!—выл Франц, стиснутый дюжими руками стражи.—Клянусь...

— Отверните ему правый рукав!—приказал св. Йорген.

Франц отчаянно сопротивлялся.

— Есть на нем клеймо?

— Да! Да!—задыхаясь, кричала стража.

— Я догадывался. Синее? Отвечайте.

— Да! Да!—отвечали стражники, возясь с Францем.

— Синяя змея?—напряженно кричал святой.

— Синяя змея!—вопила стража.—Как раз!

— Он заклеимен. Осмотрите его щиколотки. Нет ли язв от старых кандалов?

— Есть, есть!—кричали стражники.

— Так стерегите его крепче крепкого!—кричал святой.—Это Коронный вор! Это он сам, лукавая змея! Подлая тварь! Наконец-то ты попался в собственные сети!

— Это Коронный вор,—пронеслось по рядам,—и кто в ужасе пятится, кто лез напролом вперед,

чтобы увидеть знаменитого вора, и так как лишь самые передние ряды слышали первый обмен слов и разоблачение Франца, то во все стороны пронесся слух, что св. Йорген сам остановился и открыл в толпе Коронного вора.

— Он исцеляет калек и карает преступников!—раздавалось в народе.

— Держите его!—кричал святой.—Свяжите, крепче свяжите, что бы он там ни болтал, ни делал со своей дьявольской изворотливостью. Ведь сколько раз слышали вы: Коронный вор в тюрьме. И сколько раз эта весть сменялась другой: Коронный вор опять бежал.

— Повесить его!—завопил Тобиас из Ноккебю, багровея от гнева и потрясая белыми космами.

— Что сказал ты, достойный паломник?—спросил святой, желая, чтобы тот повторил свое предложение. Ему нужно было, чтобы сам народ потребовал казни.

— Повесить бы его!—повторил Тобиас, на этот раз осторожнее и как бы в виде вопроса.

Но мальчишки, торгующие плащами, пришли на помощь:—Повесить его!—завизжали они пронзительно. Для них не было лучшего удовольствия, как обрывать ножки у пауков и смотреть, как дрыгает ногами повешенный.

И тут обезьянья порода сказалась во всех сразу:

— Повесить его!—завопили все со все возрастающим возбуждением.

— Хорошо!—воскликнул св. Йорген, дав крикам достигнуть внушительной силы.—Вы сами его осудили! Стража! Отвести этого человека тотчас же на виселицу и повесить! А мы выйдем из колесницы и спустимся к источнику, чтобы омыть руки свои в святой воде. Вперед, мои добрые господа храмовники!

И балдахин снова заколыхался, и музыканты и храмовники двинулись дальше, а над морем народным вновь и вновь понеслись шквалы оаций.

Но едва Йорген помог своей невесте сойти с колесницы, как начальник стражи почтительно доложил св. Йоргену, что Коронный вор требует суда.

Святой был несколько озадачен.—Суда?—воскликнул он.—Да вы же осудили его!

— Да! Да!—закричала толпа, но некоторые впали все-таки в раздумье и заговорили о правосудии.

— Может, он хочет сперва исповедаться?—сказал старый Тобиас и причмокнул.—Ты бы заодно и допросил его маленько!—прибавил он и добродушно-весело подтолкнул святого локтем.

Йорген смерил старого всехтыкалку несколько холодным взглядом, но старый вожак паломников ничего не понял.

— Хорошо,—громко сказал Йорген.—Мы не откажем ему в земном правосудии. Приведите его.

Пока Капитул совершает обряд омовения рук, мы допросим Коронного вора основательно и беспристрастно.

Подруги невесты окружили Олеандру, приветствуя ее веселым смехом и шутками, а Йорген велел привести к себе связанного Франца.

ЗЕМНОЕ ПРАВОСУДИЕ

Франц стоял перед Микаэлем, со скрученными за спиной руками, всклокоченный, запыхавшийся, в поту и в крови.

— Ведите меня в суд!—злобно кричал он.

— Твои судьи здесь!—сказал святой, обводя рукой вокруг и указывая на толпу.

— Вы можете повесить меня,—кричал Франц,—но сперва пусть меня судят по всей справедливости.

— Вот здесь твои мудрые и справедливые ближние, которых ты грабил,—величественно произнес святой.—Они будут судить тебя по всей справедливости.

— Пусть меня передадут в руки властей!—с отчаянием выкрикивал Франц.—Земных властей!

— Я—власть земная. Я теперь владыка храма. Я олицетворяю земное правосудие. Если ты хочешь признаться в чем-нибудь, прежде чем тебя покажут, то говори.

Франц оглянулся вокруг. Неодобрительно ропшущее море народа. Куклы в руках Коронного

вора. Ни проблеска надежды ниоткуда. Он смирился и попросил тайной беседы со святым.

— Берегись, Йорген, чтобы он не провел тебя!—крикнул Тобиас, пылая усердием.

— Будь спокоен,—сказал Йорген,—меня ему не провести.

И он велел страже отойти назад, а толпе податься в стороны. На время Франц и Микаэль остались как бы наедине. Франц начал потихоньку горько пенять товарищу.

— Ты сам вляпался, дружок!—сказал Коронный вор.

— Помоги мне!—стонал Франц.

— У тебя были крупные козыри на руках, но ты не сумел повести игру.

— О, Коронный вор! Милый, славный Коронный вор, смилуйся!

— Я переименовал имя, Франц!—сказал Микаэль.—Меня зовут теперь святым Йорге́ном. Надеюсь, ты будешь с этим считаться.

— Милый, добрый святой Йорген, возьми себе хоть все девять бочек золота из храма!—хныкал Франц.

— Спасибо тебе, Франц, за дружеское предложение,—сказал Коронный вор.—Но там девяти бочек не было. Это религиозное самовнушение, прекрасная легенда. Там было всего два боченка, и оба они лежат на моей колеснице. Господа

храмовники плуты почище нас с тобой, но это— между нами, приятель.

— Милый святой Йорген, ведь я оказал тебе вчера большую услугу.

— Ты дал великолепное представление, Франц, и я часто буду вспоминать о нем с искренним смехом, когда благополучно выкарабкаюсь из этой бочки с клейстером.

— Не повесишь же ты старого товарища по ремеслу! Неужели повесишь? — плакался Франц.

— Я сделаю это во всяком случае без всякой злобы, Франц,—сказал Коронный вор, ласково глядя на Франца.

— Повесишь? Повесишь!? Нет! Нет! Милый святой Йорген! Неужто тебе не жаль меня? Ведь жаль?

— Как не жаль, старина. Очень даже жаль. В тебе, на мой взгляд, много хорошего, Франц. Но ведь надо же считаться с обстоятельствами. И ты сам своей неловкостью поставил меня в такое положение, что либо я должен повесить тебя, либо меня самого повесят. Выбор затруднителен. Дай мне совет, старина. Как бы ты поступил на моем месте?

— О, Йорген, святой Йорген...

— Не правда ли? Так будет всего благоразумнее с моей стороны. Таким путем я сам наверняка спасусь—сегодня, а ты избежнешь всяких

неприятностей в будущем и можешь наплевать на курфюрста с его дикими конями.

Слова застряли у Франца в глотке от страху, и он уставился полубезумными глазами на север, где вздымалась виселица.—И ты способен... на такое дело... ты способен...

— Да есть ли из-за чего так расстраиваться?—сказал Коронный вор.—Ну, будь же молодцом, старина, и не вешай носа. Ты ведь знаешь, что я больше всех огорчен всей этой историей. Слышишь? Знаешь, как я высоко ценю тебя, старина, и готов бы сделать для тебя все возможное, подержать тебя до конца. Ах, вот мысль: я велю проводить тебя на виселицу с музыкой. Ты всегда страсть как любил духовую музыку. А теперь, прощай, дружище, и вытри глаза. Право, не из-за чего плакать!—Стража! Я отпустил грехи этому великому грешнику. Отведите же его на виселицу и захватите с собой трубачей. Пусть они по дороге дудят ему в уши псалмы для спасения его души. И трубят во всю, когда вы станете вешать его.

Поджигатель беззвучно шевелил губами, с беспомощным ужасом уставясь в попрежнему участливое, приветливое лицо Коронного вора.

До этой минуты у него все еще оставалось какое-то смутное религиозное представление о земном правосудии, с которым, правда, он всегда был не в ладах, и столь же романтическое пред-

ставление о дружбе—что есть все-таки вещи, на которые друг не может решиться по отношению к своему другу. И вот, земное правосудие готово было осудить его на смерть, как Коронного вора, и судьей был не кто иной, как его же друг, Коронный вор, который с улыбкой посылал его на казнь.

Последние религиозные представления испарились из него, как мрак бежит от резкого света воровского фонаря, и он постиг сокровенную сущность житейской борьбы—клюв против клюва, „я“ против „я“.

Он выдохнул из себя громкий вопль ужаса, когда стража под ликование толпы поволокла его вниз к водокачке и оттуда по тропе Палача к виселице.

Боже мой, боже мой! В первый раз в своей жизни сказал он правду, и за это его повесят, повесят под звуки псалма! Что же это за мир висельников и стервятников? Слезы хлынули из глаз храброго Франца, как струи священного источника, а рот то округлялся, то кривился, испуская вопли.

В последние пять минут своей жизни Франц пережил все горчайшие муки свидетелей истины, безнадежно выкрикивая истину, заглушаемую восторженным ревом, выпускаемым религиозно-умиленным народом от всей полноты сердца.

— Он сам Коронный вор! Он сам! Он сам!— Франц брыкался, плакал, всхлипывал, сопел и вопил, с мольбой глядя на утренний серп луны на северо-западе, над виселицей.

Но навстречу ему несся презрительный хохот, семь полупьяных трубачей заглушали его крики своим торжественным псалмом, а его силою волокли к виселице.

И последний крик его, которым он свидетельствовал истину, когда его, под ликующие взвизги мальчишек-плащников, вздергивали на веревке, был заглушен веселыми звуками труб и тысячеголосым восторженным, задушевым хоралом:

Свой народ посетил святой Йорген,
И всем бедствиям нашим конец!..

НЕМЕЗИДА

А Немезида, загадочная Немезида была уже в пути... да еще верхом, мчалась во всю прыть с грамотой самого курфюрста, адресованной местным городским властям.

Веселые звуки труб слабо доносились с холма Висельников до обрыва Источника. Выше всех одиноко стоял там св. Йорген, в своем чудотворном плаще... центр и фокус всего праздника, владыка города и храма, загадочный гость и сегодняшний любимец толпы.

Он слышал трубные звуки, видел холм Висельников, черневший, как муравьиная куча, облепленный сотнями праведных муравьев, которые расправлялись с одним несправедным.

Он видел, как Франц повис и весело задрывал в воздухе ногами, лишенный последней твердой точки опоры в этом кратковременном, непонятном земном бытии.

Глаза Коронного вора отливали стальным блеском, как глаза орла; нос, твердо и решительно изогнутый, напоминал орлиный клюв.

Один из обитателей муравьиных куч, рассеянных в мире, ушел из него. Вот и все; и Коронному вору не было бы никакого дела до этого, если бы... Да, если бы этот ничтожный муравей не был отправлен в другой мир, то сам Коронный вор, пожалуй, болтался бы на виселице. Конечно, беды большой в этом бы не было, но все эти яркие краски, зеленые холмы и багровое полуденное солнце уже померкли бы для него. А с этим, право, хотелось бы погодить еще некоторое время, если на то пошло.

В самой глубине его существа что-то ныло и трепетало, плакало, рыдало и взывало к правде и справедливости... Это была чувствительная, чистая душа его деда и матери... но она была заключена в панцырь житейской, трезвой мудрости его отца, который и душил эти рыдания и зовы.

Он чувствовал, что мог бы совершить крупные, достойные и зрелые подвиги в этой жизни, которую любил, но он пришел в мир не своей дорогой, не с той стороны и очутился не в том гнезде с самого начала. А философ был прав, говоря, что, если застегнуть неправильно первую пуговицу жилета, то и все пуговицы окажутся застегнутыми криво.

Ему уже невозможно было занять в бытии свое настоящее место. Это говорила ему его житейская опытность. Он достиг величайшего триумфа, но обманном путем, и без нового плутовства не закрепит за собой плодов своей победы. Ему нужно продолжать обманывать. И всем так приходится. И вот, опять им овладело отвращение ко всему бытию, ко всем этим мурашам, к их законам и жизненным отправлениям... ко всему этому обезьяньему миру, топчущемуся на месте или бредущему ощупью сквозь дебри лжи, религиозного обмана.

Два лебедя, безбожные, бесправные, летели себе, спокойно и ровно взмахивая крылами, над бытием... высоко над миром людским, над миром обезьяньим... вдаль, к уединенным берегам с черными скалами, о которые разбивается кипучий прибой океана...

Он проводил лебедей глазами, полными тоски.

Господа храмовники совершили обряд покаяния и омовения рук в источнике Йоргена. Отпели и

отмолились по всем правилам, покропили вокруг, как полагалось, и, наконец, сняли с себя покаянное вретище. Теперь им следовало засиять обновленным блеском праведности и рыцарской мощи.

Но они не сияли. Они были как бы надломлены.

В течение долгой жизни привыкли они играть главные роли,—отсюда брались все их величие и важность. А сегодня они были статистами или даже простыми пешками, которыми скоро никто не станет интересоваться.

Смущенные и неловкие, словно только что кастрированные быки, стояли они около источника и тихонько бормотали между собой, искоса поглядывая то на Йоргена, стоявшего одиноко наверху обрыва (бог весть, что у него вообще на уме?), то на невесту, остававшуюся возле колесницы, в кругу взволнованных, выпрашивающих, смеющихся, сияющих подруг.

Наконец ими овладел юмор висельников.

— На чорта ли нам тут ходить да распевать?—пробурчал Главный Капеллан.—Ни одна живая душа не обращает на нас внимания.

Увы! Даже самый блестящий номер Капеллана—

К тебе скорей, о Йорген, вознестись бы
от берегов греховных жизни сей,
чтоб никогда перед соблазном плоти
не трепетать душе больной моей!..

обычно исполняемый Капелланом со всею выразительностью застольных ораторов и двойною елей-

ностью, всегда вызывавший у всех слезы, даже этот бравурный номер впервые пропал, шлепнулся, что называется.

— Пойте, пойте!—прошипел Гросмейстер. Они дошли как раз до третьего стиха очистительного гимна:

Чистыми, чистыми, чистыми,
мы возвратимся в сей мир!

— У них теперь только и вертится в голове: „Йорен, Йорен, Йорен“ ¹⁾—передразнил Капеллан.

— Но что же дальше?—шепнул Секретарь.— Идем мы в храм?

Обычно Капитул после обряда очищения шествовал под звуки труб трапезовать в главной храмине, где его ждали жареные Фазаны и кабаны окорока.

— Это уж он сам решит,—прошептал Гросмейстер, на минуту прервав свое пение.

— Он разве ничего не говорил об этом?—встал Казначей сердито и продолжал свою партию (первую басовую).

— Кто же посмел бы спросить у него?—протянул Гросмейстер на мотив гимна.

— Пошлите к Олеандре,—шепнул Хранитель плаща.—Она, верно, знает. Или пусть она у него спросит.

¹⁾ Простонародное произношение имени Йорген.

Прим. Перев.

Все одобрили это предложение и одного из балдахинных служек послали к Олеандре.

В эту самую минуту примчался во всю прыть вестовой курфюрста с запечатанною грамотой курфюрста.

Гросмейстер вяло вскрыл грамоту, прочел... остоленел...

— Что это?! — перечитал вновь. — Грамота... Приказ об аресте Коронного вора!!

— Мы же повесили его, — сказал Капеллан.

— Тут говорится о двух ворах, — сказал Гросмейстер. — Грамота дрожала в его руках, и он был вообще так перепуган, что Капитул окружил его с единодушным требованием: — Читайте, читайте!

— Франц Эриксен, по прозвищу Поджигатель... Рост... Одежда... Особые приметы: синяя змея на правом предплечьи...

— Но ведь это же был Коронный вор, — зашептались изумленные храмовники.

Подошла Олеандра, лучезарная, радостная, с большим букетом в руках.

Но Капитул сгрудился около Гросмейстера, который продолжал читать сдавленным от ужаса голосом: — Микаэль Коркис, прозванный Коронным вором, незаконный сын Урсулы Коркис, дочери звонаря в Йоргенстаде... Особые приметы: красное солнце на середине груди...

Олеандра слегка вскрикнула, и пальцы ее, словно железные, впились в руку отца. Она вся дрожала... — Красное солнце... Ради бога... у кого... у кого?

В лице ее не было ни кровинки, под глазами выступили синие круги.

Гросмейстер в свою очередь быстро схватил ее за руку и зашептал: — Что с тобой? Мы говорили о Коронном воре... Отвечай! Красное солнце на груди... Ты его видела?

— Я его целовала, — прошептала она беззвучно и, не закрывая закатившихся глаз, упала на руки отца.

Подбежали подруги и понесли бесчувственную невесту тропею Скорби ко дворцу Гросмейстера, а храмовники застыли на месте, как пришибленные, глядя в глаза друг другу.

Ряд бурных чувств пронизал затем их души.

Прежде всего — бесконечное облегчение: это не привидение, не сверхъестественное существо. На самом дне души у них все время копошилось сомнение, но боялось даже поднять голову. А теперь — какое огромное облегчение! Они снова вздохнули полною грудью, распрямились, исполнились прежней самоуверенности и власти. Всего навсего вор. Обыкновенный смертный.

Во-вторых — досада и любопытство. Микаэль Коркис! Из Йоргенстада! Сын дочери старого Коркиса, бывшей наложницы Капеллана. Вот

наглый бездельник! Это ведь он когда-то явился к самому Капеллану и сказал:—Ты ведь мой отец!—Весь город тогда только об этом и говорил. Вот было хохоту... Капеллан то багровел, то желтел в лице, поглядывая налитыми кровью глазами на свой отпрыск, там на обрыве. Бездельник! Негодяй! Оборвыш! Ублюдок Коркисов!..

В третьих—безмолвное недоумение: как же это они могли поддаться такому фантастическому, наглому шарлатанству, дали провести себя за нос такому червяку, уличному мальчишке, сбившемуся с пути фигляру? Допустили его водвориться в храме, спать с храмовой невестой, носить священный плащ? Он и сейчас на его плечах. Позволили ему тиранить их всех и забрать власть над религиозно обработанным стадом народным?

Далее—справедливый, бешеный гнев при мысли обо всем, что было теперь непоправимо испорчено, разрушено, втоптанно в грязь, скомпрометировано этим бесшабашным плутом.

Затем—полная растерянность: как же теперь быть, что делать? Нечего было делать. Они везли его колесницу по улицам. Он публично разбил нос Главному Капеллану. Ругался над ними всеми и официально спал со знатнейшей девицей в городе. Ничто и никто не даст удовлетворения за весь этот позор ни им, ни ей. А он попрежнему стоит себе на обрыве, молодой, властный, владыкою дня и праздника, и они в своей растерянности даже

не догадываются, чего он хочет еще? Как поведет свое приключение до конца?

И, наконец,—чувство искреннего, почтительного, изумленного преклонения перед этим знаменитым, необыкновенным авантюристом. Вон он стоит там, купаясь в лучах солнца, с какою-то сверхъестественною гибкостью, достигнув такой вершины дерзости, какой они—все должны были сознаться про себя—никогда не могли бы достигнуть... Да, их преклонение перед ним было столь полно и безусловно, смиренно и беззаветно, что граничило с религиозным обожанием—у всех, кроме Гросмейстера. Он, при всей своей посредственности, был человек практичный и энергичный, твердо стоящий на почве действительности; довольно было с него религии—на этот раз.

— Ни с места!.. Ни слова!..—шепнул он с полужакрытыми глазами... И Храмовники опять застыли в ожидании, когда Гросмейстера осенит идея.

— Он смотрит сюда, идет сюда!—прошептал тот сквозь зубы, и его кабаньи глазки засверкали, щетина на голове стала дыбом.

— Ради всего для вас святого, не пророните ни слова! Никакой спешки! Никакой сентиментальности! Он ловок и проницателен. Предоставьте его мне! Поставлена на карту репутация всего города и храма.

Коронный вор замечтался на обрыве, глядя на полет лебедей высоко над тварью земной...

Он поддался настроению, унаследованному от деда. Это было какое-то религиозное самозабвение... саморастворение в целом... слияние с природой. Но при этом он болезненно, с грустной остротой, воспринимал каждую мелочь в развертывающейся перед ним пестрой картине.

Он видел, как стекались к источнику паломники с кувшинами и кружками, видел храмовых быков, степенно щипавших траву на лужайке, видел их длинные, лакомые языки и белоснежные, блестящие ресницы...

Он забылся, отдаваясь этому созерцанию, этому чуткому грустно-радостному душевному покою, делавшему его равнодушным к жизни и к смерти. Глубочайшею, своеобразною силою его души было это ощущение преходящести, мимолетности всего в мире—как в калейдоскопе: один поворот влево или вправо, и вся картина меняется, ничего не остается от прежнего.

Он не верил в Немезиду, но он умел смотреть и видеть. Еще издали заметил он и со спокойным вниманием наблюдал конного вестового курфюрста, мчавшегося во всю прыть с грамотой.

Он сразу понял, что эта безделица перевернет весь калейдоскоп.

Скрестив руки, стоял он и с любопытством следил за тем, как пробирается вестовой сквозь

густые толпы. Видел, как усталый Гросмейстер принял и прочел грамоту. Видел столбняк Храмовников и, наконец, обморок Олеандры.

Он так и думал! Ее любовь растет вместе с ореолом его святости... Глупышка!

Теперь они узнали, кто такой св. Йорген. Час его пробил.

Но ни следа страха смерти не было в его душе. В ней была такая тишина, такая пресыщенность жизнью, как в осеннем лесу, отжившая листва которого рада упасть, облететь. Он достиг своей цели, великой цели своих жгучих желаний. Он раздробил посох о череп своего отца, ошеломил и оплевал этих надменных господ храмовников, добился такого триумфа в своем родном городе, как никто и никогда до него. Цепляться теперь за жизнь, как за что-то ценное само по себе, лучшее, нежели смерть—да чего ради? В сокровеннейшей, жизнерадостной сердцевине его души сидела ядовитая заноза неисцелимой скорби; так пусть вся эта панорама, с паломниками, быками, виселицей, храмом и горой Йоргена, станет для него пестрым саваном. В общем он достаточно натешился этой веселой дурачливой комедией.

Одно только... безусловно интересно было бы узнать прежде, чем глаза его закроет вечный сон,—как они, честное слово, выпутаются из всего этого? Господа храмовники были выдающимися дель-

цами, а не просто жуликами. В областях философии, фантазии и религии они были беспомощными тупицами, которых мог одурачить первый проходец, но с той минуты, как они поняли, что имеют дело с простым смертным, они стояли уже на твердой почве, во всеоружии долгого житейского опыта и тактического мастерства.

Сборище болванов и посредственностей на их месте, разумеется, разорвало бы его в клочья в приливе слепой ярости и жажды мести за понесенное унижение—тем самым безнадежно скомпрометировав Йоргеновские празднества, Йоргеновский герб, Йоргену невесту и Йоргенстад, самих себя сделав посмешищем всего мира, а все это море человеческого превратив в кипящий водоворот разнузданных страстей.

Но сказать по чести: он был лучшего мнения о старых опытных господах храмовниках! Они наверно подумают, да подумают, прежде чем—ради некоторого удовлетворения личной мести—разбить вдребезги остатки, не говоря уже о том, что они, конечно, достаточно знают людей, чтобы понимать, насколько невозможно так сразу перевернуть общее настроение, убедить религиозно-возбужденную толпу, что св. Йорген попросту плут,—пусть даже всем можно было ткнуть в нос самые непреложные свидетельства этого.

И—совершенно верно.

Он увидел, что храмовники тесно обступили властного и практичного Гросмейстера.

Хитрая усмешка промелькнула по лицу Коронного вора, в душе опять вспыхнула искра героизма—захотелось еще подурачиться, выжать лимон досуха.

В качестве человека практичного, ненавистника всякой вздорной болтовни, он положительно восчувствовал некоторую симпатию к этим глубоко-разочарованным людям, которые даже в подобную минуту достаточно владели собою, чтобы молча стиснуть зубы. И чувствовал также, что священный Капитул со своей стороны, без сомнения, воздает ему честь за ловкость, с какой он проделал свой фокус, признает преимущества его положения и его право наилучшим образом использовать еще остающиеся у него на руках козыри.

Поэтому он принял решение: он плотнее запахнул на себе плащ Йоргена и с епископскою сановитостью, спокойно улыбаясь, пошел к господам храмовникам, приветствуемый бесконечным ликованием народной толпы.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

— Ну, мои дорогие господа Храмовники,—начал св. Йорген.—Мир счастливо отделался от одного мошенника, а вы столь же счастливо отделались от своих грехов,—правда, довольно легким способом. Теперь пора нам вернуться в храм. Дорогой тесть, где находится моя невеста?

— Я не скрою от вашей святости,—ответил Гросмейстер с принужденным поклоном (как и другие),—что мы успели получить важные известия.

— Какие же?—спросил святой, обводя их проницательным, но ангельски-невинным взглядом.

— Сообщены точнейшие приметы Коронного вора.

— Но, дорогой мой, мы уже повесили его,—мягко сказал святой.

— Мы, во всяком случае, должны были бы повесить его,—с неподдельной свирепостью ответил Гросмейстер носкам своих собственных башмаков.—К сожалению, мы повесили не того; но теперь мы попали на след настоящего и уверились, что он все время был к нам ближе, чем мы догадывались.

— Та же самая догадка мелькала и у меня, дорогие господа Храмовники,—спокойно ответил святой,—но вместе с тем я опасаюсь, что разобраться в этом деле будет весьма трудно.

— А, может быть, все-таки, удастся!—сказал Гросмейстер.—Вестовой Курфюрста привез сообщение, что бандита можно узнать по красному солнцу на середине груди.

— Стало быть, надобно подвергнуть всех осмотру!—весело заявил св. Йорген.

— Всех поголовно!—не удержался Казначей, как ни толкал его локтем Гросмейстер.

— Разумеется, господин Казначей,—любезно согласился святой,—и мы начнем с самых верхов.

— С вашей святости,—буркнул Казначей, не обращая внимания на знаки предостережения.

— Моя грудь в вашем полном распоряжении, господа храмовники,—сказал святой с такой искренней готовностью, что Казначей онемел.

Гросмейстер, начинавший нервничать, поспешил взять слово. — Подобный осмотр, без сомнения, задел бы религиозное чувство нашего возлюбленного народа.

— Возможно,—улыбнулся св. Йорген.

— Мы думали бы, поэтому, что лучше вашей святости поспешным отбытием своим избавить нас от тягостной необходимости... прежде, чем ландскнехты курфюрста достигнут города сегодня вечером.

— Дорогие господа храмовники,—сердечным тоном начал Йорген:—Как ни горько мне столь быстро расстаться с моим верным и честным Капитулом и вновь покинуть эти места, которые я ныне узрел после трехсотлетней болезненной разлуки,—я, само собою, сочту долгом пойти навстречу желанию моего Гросмейстера и дорогого тестя, если мне будет вручен вполне годный паспорт на более простое гражданское лицо, так как, к сожалению, нельзя ручаться, что на заставах курфюрста будут оказывать трехсотлетнему святому такое же почтительное доверие, какое выпало мне на долю в Йоргенстаде.

— Господин Секретарь,—обратился Гросмейстер,—не угодно ли вам немедленно изготовить такой паспорт? На чье имя, ваша святость?

— Можете обозначить: граф Микаэль фон Темпельгейм.

— Запишите, — приказал Гросмейстер, вспыхивая.

— Вместе с тем советую вам проводить меня из города со всеми почестями,—продолжал св. Йорген.

— Это само собою разумеется.

— Пушечным салютом.

— Без сомнения.

— Музыкой и звоном со всех колоколен.

— Не о чем спорить.

— Далее: предоставить мне дорожную колымагу, запряженную четырьмя храмовыми волами.

— Запишите, господин Секретарь,—сказал Гросмейстер, весь пылая, сверкая глазами и дрожа от гнева.

— Провиант на неделю.

— Запишите.

— 7 окороков, 14 хлебов, 3 круга сыру, в том числе и того темного, который мне особенно понравился.

— Запишите.

— Боченок моего несравненного храмового пива.

Господа храмовники выпучили глаза.

— А также плащи и ковры.—Вы ведь согласны, что все это мне необходимо?

— Вы записали, господин Секретарь?

— Для расходов на первое время я беру с собой оба эти боченка с золотом из моего храмового казнохранилища.

Весь Капитул передернуло, но св. Йорген спокойно оглядел их и продолжал:—Будьте добры, следовательно, господин Казначей, списать эти два боченка со счетов, которые я сегодня утром имел удовольствие просмотреть.

Казначей покраснел и тихонько замурлыкал.

— В награду я, отбывая, оставляю вам свой святой обрызганный кровью плащ, хотя с радостью вижу, что у вас в запасе парочка превосходных копий—в угловом шкапу (тягостное молчание); это свидетельствует о добросовестной предусмотрительности; зато я нахожу несколько легкомысленным пользоваться лоскутьями старых, отслуживших свой срок плащей, как половыми тряпками в винном погребе. Итак, вы любезно позаботитесь обо всех этих мелочах. А я, не теряя времени, приступаю к прощанию с моим возлюбленным народом.

И он с достоинством повернул им спину.

Они поклонились, как могли естественнее,—краснея, бледнея, желтея, зеленея, стиснув зубы, чувствуя изжогу в груди,—но все-таки поклонились и тотчас же, перешептываясь, принялись готовить

для высокородного графа фон Темпельгейма дорожный экипаж и провизию, чтобы успеть выпроводить его раньше, чем придут ландскнехты курфюрста и произойдет скандал.

Святой же, приветствуемый бурей восторгов, выступил вперед, готовясь говорить с народом.

ПРОЩАНИЕ

Народ так и хлынул, опрокидывая столы и скамьи. Опрокидывались и телеги, калек летели кувырком, костыли с треском ломались под ногами толпы.

Все протискивались вперед, сбивали друг друга с ног, топтали, громоздились на поверженных, чтобы быть поближе к святому, лучше видеть и слышать его.

Настоящее религиозное иступление охватило толпу. Наконец-то, наконец-то св. Йорген заговорит, настанет великая минута, которой все ждали, — его святой, знаменитый голос прозвучит над городом впервые после 300-летнего перерыва. Лишь ничтожная часть огромных толп слышала его вчера в Храмовой роще, а еще меньшее число людей — его разговор с Коронным вором сегодня перед статуей, но о той и другой сцене ходили самые необыкновенные слухи.

Огромная толпа стала затихать. Люди теснились внизу около лестницы Скорби и жадно прислушивались. Тропа Палача была до половины

пути к виселице запружена народом. Голова к голове. Стена сада Гросмейстера была черным-черна от облепивших ее, как мухи, людей. Толпы тянулись и по Мостовой дороге до самой дороги Храмовников, где все крыши и дымовые трубы были облеплены зоркою молодежью. Пирамидальный тополь портного Курцена на углу дороги к источнику тоже. Один большой сук, не выдержав тяжести, обломился с глухим треском, и с десятков молодых зрителей полетело вместе с ним в ров.

Наконец, в этом огромном сборище народа водворилась тишина, и все головы и взгляды обратились к нему, облеченному в плащ и стоявшему на верху обрыва. Они видели, как он подходил, такой худенький, маленький отсюда снизу, и все же святой, настоящий, прославленный святой. Он был среди них.

И не успел никто опомниться, как старый Тобиас из Ноккебю, самый знаменитый из вожаков, известный также своей навозной кучей перед самым порогом, затянул дрожащим голосом:

Свой народ посетил святой Йорген..

Минута была самая подходящая. Громовые раскаты песнопения катились над многотысячной толпой. Огненный дух религиозного экстаза обуял эти тысячи, сплавил их в одно великое, единое целое, в славящую, ликующую массу без мысли, без воли, трепетно склоняющуюся к стопам святого,

готовую без рассуждений принять любое его слово, творить его волю. Все сообщения единогласно утверждают, что это была великая минута, одна из тех, которыми живут потом годы, незабываемое переживание, которое каждый из присутствовавших унес с собой и хранил в душе до самой смерти, как память о величайшем часе всей своей жизни.

Закрыв глаза, стоял Коронный вор на верху обрыва, принимая поклонение толпы. Уже в конце первой строфы песнопения он дал знак, что хочет говорить. Но невозможно было остановить этот могучий, искренний порыв, охвативший народ. И пение продолжалось:

Мы протянем к нему наши руки,
устремим к нему наши сердца...

И вслед за второю строфой неудержимо полилась третья:

И, слезу за слезою роняя,
утопаем в блаженных слезах...

Коронный вор отказался от попыток остановить пение. Всякий раз, как оно готово было затихнуть, всегда находился десяток-другой паломников, которые, вне себя от восторга, взапуски старались показать, что знают, как начинается следующая строфа, и снова из глубины народного моря подымалась звуковая волна:

О, ликуйте же, дети, и пойте,—
взор святого так светел и тих...

И новый порыв экстаза охватывал массу.

Еще вчера Коронный вор мечтал взорвать праздник Иоргена, заменить это ползающее на коленях ребячество и горячку поклонения разумной мыслью и спокойным чувством справедливости, упразднить все эти фокусы с плащом и с чудесами, все это обрядное фиглярство, превратить храм в оплот здорового народного разума и рассудительности.

Но, видя теперь эти звездные мириады глаз, сияющих лучами наивной веры, это безбрежное море глупости, это глазевшее на него, словно из глубины первобытных времен, звериное стадо, сопливое, беспомощное, несамостоятельное, духовно немощное, которое в своей почти похотливой религиозности и не знало, не желало ничего лучше и выше, как отдаться общему настроению, быть убаюканным им,—Коронный вор с веселой брезгливостью понял, что эти массы народные только языком трепали, благоговей перед святыней храмов, куда их тянуло, как зверей к солнцу, преклоняясь перед священными плащами и чуть не пуская в штаны от религиозного умиления; понял, что ни одно из этих тупых, согбенных созданий не даст себе труда встряхнуться, родить самостоятельную и честную мысль своим запущенным мозгом—пока у них есть Главный Капеллан, из смачных уст которого они могут воспринимать разжеванные истины, как младенцы из рта няньки жеваную слюнявую соску.

Лебеди скрылись за дальними горами. И его потянуло вдаль—туда, за ними. Им-то легко было жить среди могучей природы, без всяких храмовников, без провидения, без чудотворных плащей и попов,—отдельные здоровые особи могут обходиться без всего этого.

Все восемь стрóf были пропеты; прозвучали и финальные гордые строки:

И вовеки веков будет славен
наш заступник, наш Йорген святой

Коронный вор подал знак к молчанию. Тысячи глаз словно присосались к его губам.

— Добрые друзья,—начал он.—Я посетил храм свой, видел свою невесту и могу теперь со спокойной совестью отбыть. Но эти незабвенные дни, проведенные среди вас, никогда не изгладятся из моего сердца. Я хочу только перед отбытием своим запечатлеть в сердцах ваших святые слова пророка: „Кто доволен, тот не печалится, и кто печалится, тот не доволен“. Поистине глубокие слова, вечно бесценные, заповедал пророк всем благочестивым чадам господним, и о многом могут они заставить призадуматься, поразмыслить в тихие часы, когда мы с истинным смирением погружимся в их глубокий смысл, попытаемся проникнуть в него до дна. И засим — прощайте, все... все!

Тут отовсюду понеслись к нему жалобные вопли:

— О, святой Йорген! Останься с нами! Не покидай нас! Поговори с нами еще, святой Йорген!

— Я не могу!—прокричал Коронный вор.—Важные известия дошли до моих ушей, и, я вижу, самому провидению угодно, чтобы я поспешил отсюда сегодня же, иначе будет слишком поздно. Я не из тех, кто противится воле провидения, и не думаю, чтобы кто из вас, дорогие друзья, стал искушать меня на такую дерзость. Не так ли?

— Нет, нет,—растроганно закричали в толпе.

— Но ты же обещал сегодня исцелить всех увечных, Йорген!—крикнул старый Тобиас, желая сделать святому приятное, а, вероятно, также, чтобы показать свою особую близость к нему.

— Да, да!—завопили все, и началась толкотня.

„Чорт бы подрал этого старого идиота!—подумали храмовники:—Теперь все рухнет“.

Но святой только улыбнулся и кротко покачал головой.

— О маловерные,—крикнул он,—неужели вы могли подумать, что я забыл об этом? Неужели?

— Нет, нет!—кричали все.

— Или я заслужил, чтобы вы усумнились во мне? Заслужил?

— Нет, нет!—растроганно кричала толпа.

— Не сделал ли я для вас больше, чем кто-либо из вас смел ожидать и надеяться еще вчера?

— Да! Да!—грянули в ответ тысячи голосов.

— Слушайте же,—прокричал святой.—Я вижу перед собой столько увечных и калек, что, как вы сами понимаете, я не в силах возложить руки на каждого в отдельности. Не так ли?

— Хоть меня одного!—крикнул один калека, ковыляя вперед.—И меня! Меня!—жалобно завопили со всех сторон, началась невообразимая давка, все увечные и калеки старались протиснуться вперед.

— Нет! Нет! Нет!—воскликнул святой.—Грешно было бы исцелить лишь нескольких, а не всех. Боже избави меня сотворить такую несправедливость. Но я знаю лучший способ. Слышите вы меня?

— Да, да.

— Сегодня, когда солнце зайдет, вы все отправитесь попарно в Храмовую рощу. Поняли?

— Да! Да!—напряженно отвечали ему.

— Там на северной стороне растет моя священная живая изгородь. Отрежьте себе каждый по веточке и отправляйтесь по домам. Посадите веточку в цветочный горшок и поливайте ее колодезной водой, почерпнутой при лунном свете. Знайте, первые семь новых листочков, которые распустятся на ветке, будут обладать чудесной силой. Сорвите их. Но смотрите, не захватите восьмого, в нем яд, который уничтожит всю целебную силу остальных семи. Из этих семи листочков приготовьте крепкий настой. Пейте его медленно, с молитвой—и вы увидите чудеса, и

каждый из вас узнает, сдержал ли я свое обещание. Но... я вижу, моя дорожная колымага готова, нагружена моими священными окороками и запряжена священными храмовыми волами. Итак, говорю вам: прощайте все. От всего сердца прощаюсь с вами: прощайте, прощайте—до нового свидания!..

Грянуло мощное восторженное приветствие. Глаза у всех блестели слезами, руки трепетно тянулись кверху, и сверхъестественное напряжение чувства разрешилось... песнью, которая, как по мановению волшебной палочки, почти одновременно вырвалась из тысячи грудей:

Хоть мы телом и убоги,
честью и умом бедны,
все возрадуемся в боге,—
дети Йоргена ведь мы!..

Впереди всех пел старый Коркис. Руки у него тряслись, слезы катились по серебряной бороде, и он, улыбаясь сквозь слезы, смотрел на святого своими вечно ясными, умными старыми глазами.

Горько-грустная гримаса тронула лицо Коронного вора. Видеть, как легко такой умный и благородный человек поддался дешевому обману!.. И он быстро повернулся к храмовникам, как бы желая выместить на них свою горечь:

— А теперь, господа храмовники, бьет час прощания. Подходите облобызывать мою руку!—властно крикнул он.

У храмовников лица окаменели, но они по неволе повиновались. Глаза народа следили за ними.

— Прощай, Гросмейстер, охраняй мой храм и не давай никому водить себя за нос.

— Негодный плут!—вырвалось из уст Гросмейстера, когда он с почтительным поклоном целовал руку святого.

— Прощай, Хранитель плаща. Повесь опять этот плащ в моем святом храме. И да не осквернит никогда твоих святых рук поддельный плащ.

— За сердце хватает,—сказала старушонка с перебитым носом старику с заячьей губой и отерла глаза передником.

— Все-таки он любит их!—сказала растроганная девушка с культижкой вместо ноги парню-карлику.

— Хо, небось они тоже святые!—сказал какой-то гнусавый паломник кривому соседу.

— Еще бы, и нам не след заноситься перед святыми,—сказала старая торговка яблоками плачущим голосом уродцу с головой, раздутой от водянки.

И таково было общее мнение народа.

ОТБЫТИЕ

Св. Йорген простился со своими храмовниками. Последние прощальные слова он прошептал на ухо грозному Главному Капеллану, который, шатаясь, вернулся на свое место среди других

храмовников. Так потрясла его святая печаль прощальных минут.

Святой стоял и пристально смотрел на него. Грудь его вздымалась, голова гордо закинулась.

— Собака, а не отец,—вот что прошептал он Капеллану.—Кланяйся пониже и целуй руку сыну со смиренной мольбой о прощении за то, что произвел его на свет и в то же время украл у него честное имя.

И Капеллан, дрожа от ярости, вынужден был поклониться и поцеловать руку Микаэля.

— Свинья!—шепнул ему Микаэль затем.—Поклонись еще раз и поцелуй мне руку, прося прощения за то, что в высокомерии и самовластии своим загубил жизнь и счастье моей матери, Урсулы Коркис из Розового переулка.

И Главному Капеллану пришлось вторично согнуть свою негнущуюся шею.

— Шея у тебя плохо гнется; не привыкла, видно, любезный батюшка,—сказал ему Микаэль напоследок,—надо поупражнять ее. Поцелуй мне руку в третий и последний раз в знак спасибо за то, что я разбил тебе нос своим посохом. Ну! Кланяйся пониже. Нечего пыхтеть. Здесь я сильнейший.

И в третий раз должен был Капеллан поцеловать руку святого прежде, чем его отпустили.

Коронный вор вздохнул. Как легко! Как свободно! Месть была завершена, страстная тоска,

томившая его всю жизнь, удовлетворена. А теперь... как вдруг пусто стало в душе... Как будто и жить больше не-зачем.

Жить затем лишь, чтобы жить, жить для себя—у него не было охоты теперь, когда его дело было закончено. Жить для ближних?... Довольно было взглянуть вокруг, обвести взглядом всех окружающих от храмовников до простого народа, от народа до храмовников...

Вдруг, словно звон серебряных колокольчиков, долетел до него хор жалобных девичьих голосов с крыльца дома Гросмейстера. Это высыпали на крыльцо подруги невесты.

— О Йорген, Йорген! Зачем ты так скоро покидаешь нас?

Как будто сама жизнь взывала к нему, готовому повернуть ей спину.

Коронный вор не мог удержаться от улыбки.

В этих голосах было столько невыразимой, непонятной прелести, такое очарование невинности, нежности и теплоты. Они согрели ему душу, как весеннее солнце согревает увядший за зиму лес, и так живо напомнили ему Олеандру—ту нежную доверчивость, с какой она прижалась к нему и открыла ему новый мир сердечной теплоты и пышной силы.

Ему припомнилось из его прошлой жизни комедианта прощание Кореандра из пьесы „Рас-

строенная свадьба“, и он воскликнул с мечтательным жаром:

О, юные девы! На жизни пути
охотно гостил я у вас.

Мне с вами расстаться—в могилу сойти,
во мрак погрузиться тотчас!..

Паломники в полном недоумении глядели друг на друга.

Правда, все они отлично знали утехи любви, все, даже самые вялые и простодушные—кто понаслышке, кто по опыту, и многие из них почесывались и хромали от любовных болячек и перевязок. Но не в брenneй плоти была для них благороднейшая, лучезарнейшая сила жизни. Они любили тяжело, рабски, как быки и улитки, пыхтя и отдуваясь, без улыбки. Для них любовь была своего рода невольным, неудобоназываемым, тайным ночным грехом, которому люди предаются лишь, когда все чужие уйдут и свет погаснет. В тонких наслаждениях и шалостях любви они смыслили не больше свиньи в апельсинах.

— Что он сказал?—спросила глухая старая кумушка с грыжей и повязкой на глазу.

— Это он насчет... девиц?—шепнул пожилой, охрипший проповедник, истощенный старыми излишествами.

Лишь немногие поняли слова святого, но все слышали звук его голоса, который вдруг стал таким звонким, сильным, совсем непохожим на обычное

излюбленное баранье блеяние... и видели его лицо, озаренное юношеской радостью, отблеском счастья, отброшенным на него юными девичьими лицами.

А во дворце стояла у окна Олеандра, затаив дыхание, не отрывая взгляда от этой сцены...

В диком отчаянии металась она на своем ложе как раненый зверь.

Она, умнейшая из всей „башенной“ клики, она была обманута, одурачена хуже всех. Она, самая гордая, самая знатная из всех, была опозорена, осквернена хуже всех—самим Коронным вором. Она, самая холодная, самая неприступная, насмеявшаяся над грубою пошлостью любви, содрогалась в безумно-блаженном восторге в объятиях сына храмового сторожа, плебея Миккеля, публично наказанного плетью на площади Капитула.

Перед ним она стояла, как смущенная школьница; он наслаждался ее стыдливым румянцем, произнося свою высокопарную речь: „Ваша святейшая милость“... Как он, верно, смеялся про себя, с дерзкой торжественностью требуя от нее „удовлетворения, восстановления чести своей в своем потомстве“... И она дала ему удовлетворение... полною, щедрою мерой... О боже, боже!..

На дыбу его! Четвертовать! Плетью! Повесить! Она вскочила. Ей хотелось видеть, как его поволокут дикие кони, разорвут в кровавые клочья под ее презрительный хохот и крик мести. Вель

они же не сразу отделили его голову от туловища?..

Она бросилась к окну и остолбенела в яростном изумлении. Что же это? Во сне ей снится?.. Грезится?..

Этот разоблаченный плут стоит себе на обрыве и, спокойно улыбаясь, принимает восторженные приветствия толпы... Где же карающее правосудие земное? Где Капитул, всесильный, грозный, величественный Капитул? Или отец ее, в приливе гнева?.. Там! Там!.. Смущенные, растерянные, понурые бегали они, снаряжая дорожную колымагу для него... для него... Как?.. Они целуют ему руку?.. Он улыбается, а они, один за другим, низко кланяются ему и целуют руку... Кланяются и целуют!..

Олеандра вся дрожала... На лбу ее выступил холодный пот... она едва держалась на ногах... Сознание ее было, как запотевшее стекло. Но мысль, хоть и затуманенная, работала, работала... и она поняла, схватила суть дела, и сердце ее замерло...

О, какой позор! Позор! Капитул предал ее! Собственный отец продал ее. Они его не тронули, ни волоска на голове его не тронули. Не посмели. Боже, боже! Они ведь сами такие же обманщики. И она... она... невеста Йоргена... была с ними заодно.

С окаменелым лицом, в ужасе смотрела она на эту кучку растерянных людей... Словно какие-то трубочисты или ночные сторожа, суетились они, повинувшись его приказаниям...

Солнце светило попрежнему, но праздничное освещение бытия, как-будто потускнело, аристократический блеск сошел со всего... все стало безжалостно будничным, тривиальным, плебейским.

С голов храмовников слетел ореол, и тень преступления не падала больше на голову преступника... Ни героев больше, ни мошенников... Одна большая муравьиная куча, в которой копошатся люди-пигмеи, исполняющие разные роли в гигантской будничной комедии, в которой умные побеждают, глупые остаются обманутыми до слез...

И взор ее с боязливым удивлением приковался к этому умному, превосходящему всех человеку, который стоял там, улыбаясь, головою выше всех.

Она забыла, что он сын сторожа, а она дочь Гросмейстера. С глубоким смирением сознала она, что он—сильный и предусмотрительный, умеющий обеспечить себе победу авантюрист, она же—самая обыкновенная, безразличная для него девушка... игрушка, растоптанная им на пути.

С ним познала она высшее блаженство жизни... а теперь он уезжает... уезжает... не удостоив ее даже прощальным словом... ее, чью жизнь растоптал, бросил в бездну отчаяния.

Брызнули слезы, на этот раз из самой глубины смирившегося, кровоточащего сердца, беспомощные детские слезы... Она плакала потому, что он бросил, забыл ее, отдавшую ему свою любовь... Плакала потому, что обманом оказалась ее любовь... потому, что вообще любви не было...

Вдруг она быстро подняла голову.

„Мне с вами расстаться—в могилу сойти, во мрак погрузиться тотчас“...

Это он! Та же страстность! Та же нежность, искренность тона!.. Жизнь, вера, неподдельное чувство звучали в этом свежем, звонком голосе... Хотел ли он вложить в эти слова особый смысл? Или и они были обманом? Надо убедиться... И она снова очутилась у окна... увидела его... его... его... в колымаге, готового к отъезду. Все внутри у нее словно оборвалось, перевернулось...—Йорген, Йорген, взгляни же на меня,—рыдая шептала она. Его взгляд несет жизнь и свет дневной. Коснуться его руки, его колен—вот глубочайший смысл жизни. Только слившись с ним, попыталась она начать жизнь... До него жизнь ее была сумерками... После него станет ночью, смертельным мраком... А! Он взглянул! Увидел ее! Понял! Улыбка сбежала с его уст! Лицо стало глубоко серьезным... Она вытянула шею... В этот час разлуки ничего не стоило решиться на все... Во всем мире не существовало никого, кроме них, двоих.

С затуманенным взором отыскала она кинжал... охотничий кинжал отца, и, держа его в руке, спокойно вышла на крыльцо, стала спускаться, не сводя глаз с Йоргена... Он стоял все такой же серьезный, без гнева, без боязни... лишь тень улыбки явилась около губ.

— Ты покидаешь меня, Йорген?—крикнула она ему еще с полдороги.

— Да, раз ты не хочешь следовать за мной!—бросил он ей навстречу.

— Я хочу с тобой!—с отчаянием крикнула она, уронила кинжал и вскочила в колымагу.

— В путь!—крикнул Коронный вор. Вселенная вдруг опять зажглась для него всеми огнями радости. Колымага тронулась. Гром прощальных приветствий и благословений народа заглушил смятенные вопли и крики Гросмейстера и господ храмовников. Запряженная волами колымага, с двумя пассажирами, с грохотом понеслась с холма по переулку Храмовников по направлению к дороге Курфюрста.

Зазвонили колокола св. Йоргена, св. Анны, св. Фомы и св. Кнуда. Звон стоял над городом, словно сам рай на минуту спустился на землю в этой гармонии звуков. Народные толпы с восторженными кликами расступались перед колымагой отбывавшего святого.

И Микаэль привстал в колымаге, крепко держа в своей руке руку Олеандры, и крикнул поверх голов и простертых к нему рук:

— Я вернусь опять через триста лет!..

Бесконечное ликование поднялось в битком набитых народом переулках и улицах. Олеандра с рыдающим горловым смешком стиснула руку „святого“.

— Пали!—бешено крикнул Гросмейстер пушкарю на Йоргеновской площади, и грянул первый выстрел, а за ним раскатился новый гром ликования толпы.

— Машите! Машите!—кричал Капеллан, задыхаясь от напряжения и ярости.—Ведь народ глядит на нас!

И господа храмовники восторженно замахали шляпами. Девы кивали, кричали и плакали.

Второй выстрел грянул вслед колымаге, прогромыхавшей по мосту и сворачивавшей на дорогу Курфюрста. Ехавший навстречу отряд ландскнехтов курфюрста почтительно посторонился перед знатными проезжими.

— Бог весть, что это за фигура?—в раздумьи сказал Клаус, проходивший вместе с Клодиной мимо „Праведного паломника“, таща выкрашенную в синий цвет колыбель, подаренную им его теткой, от которой он ожидал наследства.

Громыканье колымаги св. Йоргена замирало вдаль; ветер разносил над городом звуки тысячеголосой песни:

Все возрадуемся в боге,—
дети Йоргена ведь мы!..

— Да пали же в последний раз, чорт тебя дери!—ревел Гросмейстер, весь в поту, чуть не плача от запальчивости. И третий пушечный выстрел возвестил, что праздник кончен.

Но долго еще звонили в лад колокола вслед скрывшейся колымаге.

Долго еще стоял Гросмейстер и пристально глядел вслед авантюристу, увезшему его любимую дочь, его колымагу, его волов, его окорока и сыры и два боченка храмового золота... Глядел вслед колымаге, в которой Коронный вор с Олеандрой уносились, словно пара диких одиноких лебедей, за ограждавшие горизонт синие горы...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коронный вор и Олеандра после двухмесячного пути, полного приключений, достигли гористого северного берега Великой реки, где и купили у запутавшегося в долгах ландграфа очаровательные развалины горного замка Фалькенбергов. Замок был давно необитаем и пользовался дурной славой, так как в нем водились привидения. Но граф фон Темпельгейм реставрировал его, роскошно обставил и сделал своей главной резиденцией.

Здесь беглецы прожили долгую, деятельную и счастливую жизнь, окруженные детьми и внуками, и от них пошел многочисленный род Фалькенбергов, так называемая „младшая линия“, на деле происходившая из Йоргенстада и ничего общего не имевшая со старшей линией Фалькенбергов, которая, вдобавок, как документально доказано, давным давно вымерла.

Почти все отдельные члены этого рода отличались крайним индивидуализмом, почти соколиным презрением к стадности...

Сказывалось это двояко: во-первых, в почти хищнической жадности и ни с чем не считаю-

щейся предприимчивости, пробивавшей себе дорогу—как быки и буйволы—не страшась никаких преград... жадности, то и дело воскрешавшей в памяти людей храмовой Капитул.

Во-вторых, в упорном, непреодолимом чувстве справедливости и ни с чем не считающейся, бескорыстной правдивости. „У этого рода не язык, а бритва“—писал князь Висбах. „Глаза их метали молнии, уста извергали громы“—пишет профессор ф. дер Снумпфендорф.

Добродушие, жизнерадостность и широкая приветливость, напротив, не часто встречались в младшей линии Фалькенбергов.

Кроткая уступчивость старого Коркиса и беззаветная доброта Урсулы бесследно исчезли в этом роду, заглушенные упорной волей владельцев одинокого горного замка... Напротив, хрустально-чистая душа Коркиса закалилась, отлилась в стальную гордость.

Всего раза четыре-пять всплывали в роду лица с чертами сердечной доброты старого Коркиса. Зато у этих Фалькенбергов доброта и отсутствие эгоизма были выражены так ярко и цельно, что современники считали их безумцами (напр., епископа Тоннара фон Фалькенберга, поэтессу графиню Люцию, верховного судью Рейнгарта фон Фалькенберга и, наконец, казненного мятежника и народного вождя Христиана фон Фалькенберга).

Йоргеновские празднества справлялись еще в течение многих столетий. И тот плащ, и запасные плащи, и еще много новых плащей истрепались и были заменены новыми и новыми, к несказанному облегчению и утешению славного, набожного, верующего человечества.

О „посещении св. Йоргом своего города“ храмовой Капитул издал тщательно обработанную брошюрку (перепечатана в V Ежегоднике „Здорового народного чтения“). В качестве исторического документа этой брошюрой, разумеется, можно пользоваться лишь с осторожностью, зато ее благочестивый тон и богобоязненная мораль делают ее настоящим перлом назидательной литературы для народа.

Лишь в секретнейшем архиве храма сохранилось краткое, исполненное сдержанной горечи соображение о проделке плута, так дорого обошедшейся храмовой казне.

Наконец, недавно в Фалькенберге найдены семейные заметки, относящиеся к празднику Йоргена и набросанные рукой самого Коронного вора. Они-то и послужили главным фундаментом для этой небольшой книжки.

В рыцарской зале замка Фалькенбергов висит ряд превосходных портретов древних представи-

телей рода. Краски потемнели, олифа потрескалась, но родовые черты выступают рельефно.

Над камином посредине висит князь Микаэль Коркис ф. Фалькенберг, граф Темпельгеймский (Коронный вор тож), в длиннокудром парике, пурпурном одеянии и с жезлом. Это старческий портрет. Прелесть и свежесть молодости исчезли, но хитрые узкие глаза и лисья улыбка необыкновенно живы и характерны. Видны верхние веерообразно посаженные зубы, своеобразно выступающие наружу, опираясь на выдающуюся сухую нижнюю губу.

Под портретом подписано:

„Моя воля была моим крылом“.

Рядом с ним висит Олеандра, почтенная, седовласая, с тонко очерченным, гордым лицом и страстным, упрямым и вместе с тем нежным ртом.

По портрету видно, что под старость она сильно располнела.

Под ее портретом выведено золотыми, витиеватыми буквами:

„Всею противостояла она,
Кроме любви“.

Здесь кончается повествование о „Празднике Йоргена“.

Перевела с датского
А. В. Ганзен

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение	7
Часть I. Паломники	11
Коронный вор	22
Город св. Йоргена	33
Олеандра	43
В городе детства	59
Часть II. На пути к священной роще	70
Перед выносом плаща	71
Пришествие св. Йоргена	80
Владыка храма	90
В ожидании	97
Планы св. Йоргена	103
Невеста св. Йоргена	110
Утро св. Йоргена	115
Франц	122
День торжества	126
Клюв против клюва	136
Земное правосудие	142
Немезида	147
Дипломатические переговоры	159
Прощание	164
Отбытие	172
Заключение	183



„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ В СВЕТ

издаваемые „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ журналы:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

книги 1-я, 2-я, 3-я и 4-я.

Под редакцией Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова,
К. И. Чуковского и Абр. Эфроса.

Печатается № 5-й.

„ВОСТОК“

книги 1-я, 2-я и 3-я.

Под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, академика И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Алексеева, профессора Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

Печатается № 4-й.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

МОСКВА, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский пер., 4.
ПЕТРОГРАД, Проспект 25-го октября (Невский), 28.

МАГАЗИНЫ ТОРГСЕКТОРА:

В Москве: 1) Советская площадь, под гост. „Дрезден“, тел. 1-28-94. 2) Моховая ул., под гост. б. „Националь“, тел. 1-31-50. 3) Ул. Герцена (Б. Никитская), 13, зд. Консерватории, тел. 2-64-95. 4) Никольская ул., д. 3, тел. 49-51. 5) Серпуховская пл., 1/43, тел. 2-84-82. 6) Кузнецкий мост, 12, тел. 1-01-35. 7) Лялинский пер., 11. 8) М. Харитоньевский пер., 4. В Петрограде: 1) Проспект 25-го октября (Невский), 28. 2) Ул. Володарского (Литейный пр.), 21. 3) Проспект 25-го октября (Невский), 13.